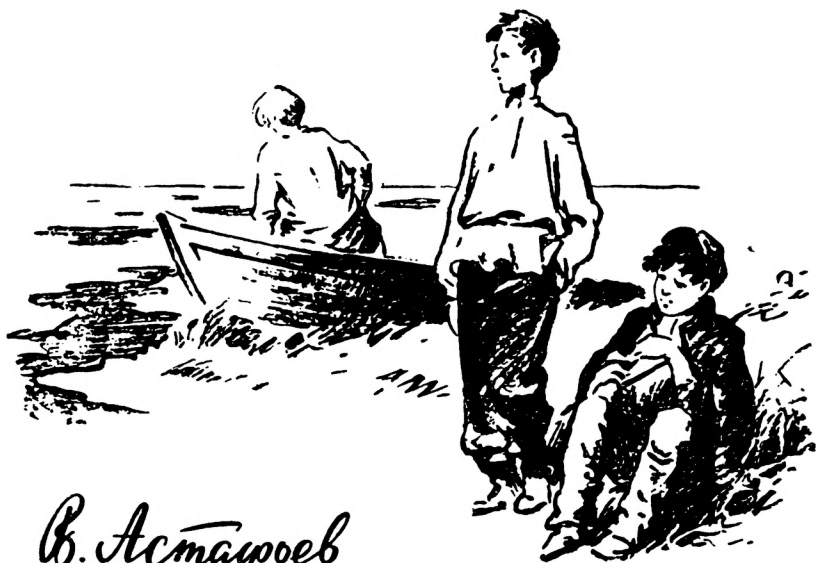




В. АСТАФЬЕВ

Зорькина  
песня



В. Астауров

# Зорькина песня

Рассказы

ПЕРМСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
ПЕРМЬ — 1960

Для детей среднего и старшего  
школьного возраста

Художник ***В. С. Измайлов***

**Здесь цветы, как закаты,  
И, как вечность, простор,  
На цепях-перекатах  
Реки падают с гор...**

*Ю. Сбитнев*







Эта книжка о природе: о лесе, о реках, о животных. Эта книжка о том, без чего человек не может жить, не должен жить. Природа для человека все: и красота, и жизнь, и любовь, и вдохновение. Но они не существуют сами по себе, они слиты воедино — природа и человек!

Я родился и рос в сибирской деревне, на берегу величественной и для меня самой красивой в мире реки — Енисее.

В наших местах Енисей скалист и бурлив. Он стиснут горами. На седловинах и перевалах они покрыты лесами, а их



## ЗОРЬКИНА ПЕСНЯ

«оконные» стороны — те, что выходят к реке, — обнажены, Эти скалы и горы не похожи одна на другую: они высокие и низкие, острые и тупые, серые и ржавые. Напротив деревни огромный Караульный бык. Темновато-рыжая, каменная глыба, просевшая на середине. Забрела она в реку и встала, непокорно повернувшись грудью навстречу грозному Енисею. Вода возле быка бурлит, пенится; весной таранят его льды, но бык стоит упрямый, величественный, непокорный.

И так давно он борется с Енисеем, что состарился уже, дал трещины, зарос клочьями седого мха и сосняком да листвягом на вершине. В самом заоблачье вершина. И живут здесь лишь черные острокрылые стрижи, да промчится иной раз грозным вихрем за добычей сокол.

Караульный бык всегда доступен солнцу и потому здесь прежде всего сходит снег. Еще лежит он по берегам, еще млеет в густом сосняке, еще вспучивается и рыхлеет в речках, а на громадном быке уже улыбаются мягкими губами навстречу солнцу яркоротые сибирские подснежники. Но трудно добраться до вершины быка.

Однажды девушка ждала внизу своего возлюбленного, который отважился подняться за подснежниками. Девушка ждала его, ждала, а потом не выдержала, сама поднялась на бык. Но парня там не оказалось. Она глянула вниз и возле промсины, в огромной воронке увидела белое пятно. Это вместе с пеной кружился букет подснежников. Несколько дней спустя Енисей вытолкнул на берег того, кто дерзнул взобраться на утёс.

Сурова Сибирь, грандиозен, велик и непреклонен Енисей. Покорить и обжить его могли такие же сильные, такие же могучие люди. Они, эти люди, зовутся коротко и звучно — сибиряки.

Моя деревня раскинулась вдоль берега Енисея. Сзади неё горы-увалы, по бокам — скалы. Енисей-батюшка снисходительно выпростал когда-то клочок земли лесам — растите, мол, шумите, мне-то что, даже веселее с вами. Но пришли люди и врубались в этот лес, высвободили для себя пологий берег — узкую полоску на редкость плодovitой и жирной земли.

Вот здесь я и рос, здесь впервые заглянул под насупленные брови Енисея и разглядел то, чего наезжий человек вряд ли разглядит в Енисее, и полюбил его, этого угрюмого и ворчливого деда, навсегда.

Конечно, произошло это незаметно. Природа входит в нас

не спросясь и не сразу. Она крупца по крупце, капля по капле вливается в душу, наполняет силой и соками, теми соками и запахами, которые всю жизнь бродят в крови и щемят сердце вдали от Родины.

Родина моя, как я тебя люблю!

С чего же это началось? Когда в первый раз я почувствовал тебя? Пожалуй, с того утра, когда я услышал зорькину песню. Да, да, с него...

Мне шел тогда седьмой год. Бабушка разбудила меня рано утром и мы пошли на увал по землянику. Огород наш упирался крайним пряслом в увалы и через жерди его перевешивались ветки березника, осинника и сосняка. А одна черемушка да две боярки и вовсе перебрались через городьбу и разрослись на меже среди крапивы и конопляника. Их никто не трогал и на них вили гнезда птички.

Мы с бабушкой перелезли через мокрые от росы жерди и пошли по распадку вверх на увалы. Весной по этому распадку рокотал ручей, гнал талый снег и камешник в наш огород, а потом иссяк и утихомирился. И сейчас путь его обозначал только до блеска отмытый камешник.

В распадке уютно дремал туман и было так тихо, что мы боялись кашлянуть. Бабушка держала меня за руку и все крепче, крепче сжимала ее, словно боялась, что я могу вдруг исчезнуть в этой обволакивающей белой тишине. А я боязливо прижимался к ней, к моей живой и теплой бабушке. Под ногами шуршала живучая ершистая травка, изредка в ней поблескивали желтые шляпки маслят.

Местами мы низко пригибались, чтобы пролезть под наклонившуюся сосенку или густые кусты. На кустах висели, будто на ниточках, белые цветы — дедушкины кудри. Мы запутывались в них, и тогда из чашек цветов выливалась мне за воротник и на голову студеная роса. Я вздрагивал и ежилсь. Бабушка вытирала мою стриженую голову ладонью или краешком платка, с улыбкой подбадривала, говоря, что от росы да от дождя люди растут большие, большие.

Но вот мы пробили головами устоявшийся в распадке туман и побрели по нему, как по мягкой, податливой воде. Мы выбредали из тумана медленно и бесшумно. Вот он уже по грудь нам, по пояс, до колен и вдруг навстречу из-за дальних увалов плеснулось что-то яркое и заискрилось, заиграло в лапках пихтача, сосняка, на камнях, на валежинах, на упругих шляпках молодых маслят и в каждой травинке.



А на эту россыпь, неуловимую для глаза, непостижимую для моего ума, внезапно плеснулась еще одна — птичья.

Она началась так.

Над моей головой встрепенулась птичка, стряхнула горсть искорок и пропела звонким, чистым голосом, как будто она и не спала, будто все время была на чеку: тить-ти-ти-ти-рр-ри!

— Что это, баба? — спросил я шепотом.

— Это зорькина песня.

— Как?

— Зорькина песня. Птичка-зорька утро встречает, всех птиц об этом оповещает...

И правда, на голос зорьки (так у нас называют зорянку) ответило сразу несколько голосов и пошло, пошло! Со всех сторон, с земли и с неба, с сосен, с берез на нас сыпались искры и такие же яркие, неуловимые, смешавшиеся в единый хор птичьего голоса. Их было много и голоса были один звонче другого, и все-таки зорькина песня слышалась громче, яснее других! Зорька улавливала какие-то мимолетные, почти незаметные паузы и вставляла туда свое: тить-ти-ти-ти-рр-ри!

— Зорька поет! Зорька поет! — закричал я и запрыгал неизвестно отчего.

— Зорька поет, значит утро идет, — сказала бабушка и мы поспешили навстречу этому утру и солнцу, медленно поднимающемуся из-за увалов. Нас провожали и встречали птичьего голоса; нам низко кланялись обомлевшие от росы и притихшие от песни сосенки и елочки, рябинки и березки.

В росистой траве уже загорались красные огоньки земляники. Я наклонился, взял пальцами чуть шершавую, еще только с одного бока опаленную ягоду и осторожно опустил в бокал. Руки мои запахли лесом, травой и этой яркой зарею, разметавшейся по всему небу.

А птицы все так же громко и многоголосо славили утро и солнце.

Вот с тех пор я вошел в него, в это утро, в этот лес из какого-то обволакивающего мягкого тумана и зорькина песня, песня пробуждающегося дня влилась в мое сердце и звучит, звучит...

---



**Л**едостав на Енисее наступает постепенно. Сначала появляются зеркальные забереги, хрупкие и неровные. В заливчиках и в заводях они широкие, на быстрине — узкие, трепещущие. Но после каждого морозного утра они становятся все шире, а потом начинает плыть шуга. И тогда вся река шуршит печально, утихомиренно, засыпая до весны.

С каждым днем толще и шире забереги, уже полоса воды, гуще шуга. Она теснится, рыхлые льдины с хрустом лезут одна на другую. А потом окрепшая шуга спаивается и однажды, чаще всего в струденую ночь, река встает.

## **ГУСИ В ПОЛЫНЬЕ**

Там, где река в последний раз сердито громоздила льдины, остаются тороса — острые ледяные клыки торчат повсюду.

Но вот закружилась первая поземка, потащило ветром снег по реке и зазвенели тонкие льдинки, сдерживая порывы ветра; возле них, как у щитков, образовались сугробы. Только на быстрине, на самой стремнине, где тороса высоки и льдины крепки что сталь, всю зиму из снега торчат зеленоватые, сверкающие на солнце льдины.

Но как бы ни была крута осень, как бы густо ни шла шуга, она никогда не может разом усмирить Енисей. На нем то там, то тут остаются полыньи. Самая большая полынья — у Караульного быка.

Здесь все бурлит, клокочет, шуга плывет дальше, свирепое течение крушит хрупкий припай. Не мирится Караульный бык, не желает вмерзать в реку. Уже вся река замерзла, а он стоит в полый воде. Уже идут по льду первые отчаянные пешеходы, осторожно прощупывая палкой лед перед собой; появилась одинокая подвода; затем длинный, медленный обоз, — а у быка все еще колышется пар и чернеет вода.

От пара куржавеют каменные выступы быка, а кустики, трава и сосенки, прилепившиеся к нему, обрастают толстой белой бахромой, и среди темных, угрюмых скал Караульный бык, разрисованный пушистыми до рези в глазах светлыми узорами, кажется, каким-то неестественным чудом.

Однажды после ледостава кто-то сообщил в деревню, что возле быка, в полынье, плавают гуси и не улетают. Гуси крупные, людей не боятся, должно быть домашние. И в самом деле, вечером, когда мы — ребяташки — катались на санках, с другой стороны реки послышались тревожные крики. Можно было подумать, что там кто-то долго, настойчиво и нестройно наигрывал на пионерском горне.

Гуси боялись наступающей ночи. Ведь полынья с каждым часом становилась все меньше. Мороз исподволь, незаметно округлял ее. Припаявал к закрайкам пленочки льда, которые твердели и уже не ломались от вихревых струй. На следующий день мы целой оравой перешли реку по свежей, еще чуть наметившейся тропинке и приблизились к быку. Один по одному взобрались на выступы обледенелого камня и сверху увидели гусей.

Полынья сделалась совсем маленькой. Там, где вода выбулливала тугим, змеиным клубком и кипела так, словно ее подогревали снизу громадным костром, еще оставалось темное, яростное окно. И в этом окне металась по кругу ошалев-

шая, усталая и голодная стайка гусей. Чуть впереди плавала дородная гусыня и время от времени отчаянно вскрикивала. Иногда она подплывала к хрупкому припаю, врзалась в него грудью, пытаясь выбраться на лед и вывести весь табун. Но тонкий ледок ломался под ней, да и сил у нее осталось немного.

Мне и прежде приходилось видеть плывущих среди льдин гусей. Где-то в верховьях Енисея они жили себе, жировали и делались настолько беспечными, что и ночевать оставались на реке. И эта беспечность приводила к тому, что ночью их подхватывало свежей шугой, выталкивало на течение и к утру они уже оказывались невзвест где и в конце концов вмерзали в лед или выползали на него и, конечно, гибли от мороза.

А эти вот все еще боролись. Их подбрасывало на волнах, разметывало в стороны, как белый пух, и тогда мать вскрикивала коротко и властно. И мы понимали это так: «Быть всем вместе! Держаться ближе ко мне! Не вешать голов!»

Внезапно одного гуся течением отделило от стайки, подхватило и понесло к краю полыньи. Он поворачивался навстречу струе грудью, пытаясь одолеть течение, но его тащило и тащило. А когда пригнало ко льду, он закричал отчаянно. Мать бросилась на крик, ударяя крыльями по воде, но молодого гуся притиснуло к краю льда, свалило на бок, и он беленьким комочком мелькнул под припаем, как под стеклом, и исчез навсегда.

Гусыня кричала долго и с такой печалью, что у нас спины корбило.

И тут кто-то из ребят сказал:

— Пропадут гуси. Все пропадут. Спасти бы их.

— А как?

Мы задумались. Ребятишки-ребятишки, а понимали, что с Енисеем шутить нельзя и что к полынье подобраться невозможно. Обломится припай у полыньи, и мигнуть не успеешь, как очутишься подо льдом и закрутит, как того гуся, — ищи-свищи потом.

И вдруг разом, как это бывает у ребятишек, мы заспорили. Одни предлагали подбираться к полынье ползком, держа друг друга за ноги; другие говорили, что надо позвать охотников и пристрелить гусей, чтобы не мучились; третьи утверждали, что надо еще день подождать и гуси сами тогда выйдут на лед, выжмет их из полыньи морозом.

Так, споря, мы спустились с быка и очутились на берегу возле домов известкарей.

Много лет мои односельчане занимались нехитрым и тяжелым делом — выжигали известку из камня. Камень добывали из скал, возили на берег. Здесь же, на берегу, разделявали приплавленные плотами бревна на длинные поленья — бодогы.

Возле одной поленницы, гулко ахая, бил по клину деревянной колотушкой Мишка Коршунов. Вообще-то он был, конечно, Михаил, вполне взрослый человек. Но тут уж все его звали — Мишка и Мишка. Однажды этот Мишка на спор перешел во время весеннего ледохода Енисей и оттого считался в деревне отчаянной головушкой.

— Что за шум, а драки нету? — спросил нас Мишка, опуская деревянную колотушку. Его озорные черные глаза искрились смехом, на носу и на груди блестел пот, и весь он был в пленках бересты, и кучерявая цыганская голова его сделалась седой от этих пленок.

Мы рассказали Мишке про гусей. Он радушным жестом указал нам на поленья и, когда мы расселись и сосредоточенно замолкли, Мишка закурил, выпустил клуб дыма и сказал:

— Погибнут гуси, коли не помочь им выбраться.

Нам сразу стало как-то легче: Мишка выручит. Он такой.

Мишка и впрямь скомандовал нам следовать за ним и мы побежали на угор, где строился барак.

— Всем взять по длинной доске! — отдал распоряжение Мишка. И мы возликовали.

Ну конечно же, доски надо, как это мы не догадались сами!

И вот мы бросаем доски и, держа друг друга за ноги, ползем между торосов к припаю. Кое-где под козырьками льдин еще остались оконца воды, но мы стараемся не глядеть туда.

Мишка сзади нас, ему нельзя на доску — он тяжелый. Когда заканчивается доска, он просовывает нам другую, мы кладем ее впереди и снова ползем, ползем.

— Стоп! — командует Мишка. — Теперь надо одному. Кто тут полегче? — он обмеривает всех нас взглядом, и его глаза останавливаются на мне. — Сымай шубенку! — приказывает он, и я начинаю расстегивать пуговицы. Хочется мне закричать, убежать, потому что уж очень страшно дальше ползти. Но Мишка смотрит на меня, стоя на доске, и никак невозможно ему возражать.

Я ползу по доске. Она кажется мне горячей. Под доской трещит и прогибается лед.

— Гусаньки, гусаньки, — шепчу я, глядя на сбившихся в кучу гусей, которые отплыли к противоположному краю полыньи и, встревоженно, с недоумением погагакивают.

— Гусаньки, гусаньки, — я умоляю их, зову и не могу дальше ползти — страшно. А лед с тонким перезвоном оседает под доской и темненькие молнии со шелком и диком мечутся по нему.

— Гусаньки, гусаньки, — плачу я и маню их пальцами, рукой, глазами. А они по-прежнему толпятся в противоположной стороне и, вытянув шеи, глядят на меня.

Вдруг я почувствовал, что возле моего бока что-то зашуршало и я обмер, подумал, что лед вовсе обломился, и уцепился за доску.

— Держи! Доску держи! — слышу я тугой, взволнованный шепот Мишки и, не оборачиваясь, нащупываю доску. Она ползет по гладкому льду легко, и я почему-то думаю, как, наверное, хорошо и до бесконечности долго полетели бы каменные плиточки по такому вот гладенькому, без единой морщинки, льду.

Доска доползла до воды, чуть прогнула ледок, раскрыла закраек. Я держу кончиками онемевших пальцев доску и опять зову, умоляю:

— Гусаньки, гусаньки, миленькие...

Мать-гусыня поглядела на меня и, недоверчиво гагакая, поплыла к доске. Все семейство двинулось за ней. Возле доски мать развернулась, и я увидел, как быстро заработали ее яркие, как огонь, лапы.

— Ну, вылезай, вылезай! — нетерпеливо закричали сзади меня ребята.

— Ша! Мелочь! — гаркнул Мишка, и ребята покорно замолкли.

Гусыня, напуганная криками, отпрянула, а потом успокоившись, повернулась грудью по течению, поплыла быстро, быстро и выскочила на доску. Чуть проковыляла от края, приподняла ярко-желтую лапу и приказала: «Делать так же!»

— Ах ты, умница, ах ты, умница! — шептал я.

Гуси так же стремительно выплывали на доску и ковыляли по ней, а я отползал назад, дальше от черной, жуткой полыньи и манил дрожащим голосом:

— Гусаньки, гусаньки!

А потом уже на крепком льду схватил тяжелую гусыню на руки и зарылся носом в ее тугое, холодное перо.

Ребята подобрали остальных гусей, и мы помчались в деревню.

— Не забудьте покормить их! — кричал вслед нам Мишка. — Да в тепло их, в тепло, наморозились сердешные...

С тех пор в нашей деревне появились гуси. И сейчас по улице важно ковыляют, а то плещутся с утра до ночи в Енисее правнуки и праправнуки той храброй и умной матери-гусыни, которую мы спасли от смерти.

---



## ПИЩУЖЕНЕЦ

Как-то уж так повелось, что при слове «дедушка» нам представляется бородастый, степенный человек, который сидит на печи да трубочку покуривает. А у меня вот дед был совсем не такой. Еще в молодости ему выбило пистоном глаз и он его повязывал белым, всегда чистым, платком. Бороду дед брил начисто, а щеголевато закрученные усы расчесывал гребешком. Играл мой дед на гармошке, растягивая ее во все меха, и плясал под собственный аккомпанемент. Плясал, конечно, пьяненький и обязательно босиком.

Был дедушка не только веселый кутила, но и

## РЫБАЧЬЯ ЖИЛКА



отличный рыбак и охотник. Потерянный на охоте глаз несколько не повлиял на его страсть. Он и жизни лишился на рыбалке — утонул в Енисее. Его охотничья и рыбацья «жилка» передалась отцу, а от него, видимо, и мне.

Я рано начал рыбачить — на пятом году. Дом наш стоял на берегу Енисея. Возле реки всегда сидело много ребяташек с удочками. Стал и я просить, чтобы мне удочку сделали. На просьбу мою отозвалась бабушка. Она привязала к палке суровую нитку, а за нитку гайку ржавую от плуга. Крючка у бабушки не оказалось и она узлом перехватила за середину червяка, сказав, что у хорошего рыбака и так рыба клюнет.

Закинул я свою удочку, сижу, жду. У ребят удилища длинные и лесы далеко, а у меня возле самого берега. Но я жду и никакого внимания на насмешки ребят не обращаю. Вдруг задрожала моя леска и натянулась. Я, как хватил ее, вижу: болтается что-то на конце лесы.

— Добыл! Добыл! — завопил я на всю деревню и во двор кинулся, схватив удочку в беремя.

Бабушка выбежала из дома, лица на ней нет, думала, уж не упал ли я в воду. А я и слова сказать не могу от радости. Посмотрела бабушка на мою добычу, хотела взять ее, но тут же руки отдернула:

— Батюшки! Пищуженец!

Посмотрел я на рыбку: головастая, скользкая, пучеглазая, ну прямо чертенок водяной. А мне-то что, все равно рыба. Бегаю по двору и всем кричу:

— Я пищуженца поймал!

С тех пор меня стали дразнить «пищуженцем», и тогда же проснулась во мне рыбацкая жилка. А рыбу-то я поймал, оказывается, бросовую. В Сибири ее зовут пищугой, на Урале — абакшей, в литературе — подкаменщиком, а вообще — это пресноводный бычок. Нигде эту рыбу, сколь мне известно, не едят — брезгуют, очень уж она отвратительная на вид. Зато сам пищуженец жрет что попало и на удочку берет охотно. Вот и тогда пожадничал пищуженец на червяка, заглотил его так сильно, что я рыбу и без крючка добыл.

Права была бабушка: у терпеливого — а это значит у хорошего — рыбака — всегда клюнет!

## НАЛИМЫ ОЖИЛИ

Рыбачили мы с дедом зимой. Ставили на налимов переметы. Нехитрая штука: выдолби лунку, привяжи на кончик бечевы лучинку, а потом три-четыре крючка, после них груз

и опускай на дно крючки с наживкой. Другой же конец бечевки привяжи за палку и положи палку поперек проруби. Вот и все. Но я прямо скажу: кто такой рыбалки не испытал, тот и горя не видал.

Крючки на морозе к пальцам прилипают, а на них ведь еще надо надевать живых гальянов. Рыбки эти маленькие. Они брыкаются, из пальцев выскальзывают. Но и это еще полгоря. Горе, когда на каждый крючок налим попадет. Зимой в мороз налим шустрый. Наживку берет сильно и заглатывают крючки так, что никакими судьбами их не вытащишь из налимого брюха.

Дед мой радехонек, когда выворотит из проруби налимов величиною с полено.

— Попали, поселенцы, попали! — ликует он и командует мне: — Помогай сымать!

А где уж тут снимать, у меня и без того руки не гнутся. Но с дедом спорить не станешь. Он у меня не переваривал плакс и слюнтяев, нрава был не только веселого, но и крутого, в случае чего — наподдает и жаловаться бабушке запретит.

И вот засовываю я пальцы в широченную пасть налима, вынимаю из самого нутра его крючок, а он извивается, выскальзывает. Сниму одного налима и со злом в снег его тресь! Поизвивается, поизвивается налим, да так скрюченный и застынет. Берусь за другого, ругаюсь, хнычу, а дед мне:

— Терпи казак! В руках налима держать — что! Мне вон в зубах его, подлого, держать приходилось. Вот это да!..

Сбросали мы рыбу мерзлую в мешок и домой. С мороза я к печке сунулся. Тем временем бабушка рыбу вывалила в деревянную лохань и воды в нее налила. Возле печи у меня занули пальцы так, что я не выдержал и завыл во весь голос. Бабушка на деда напустилась:

— Заморозил ребенка, одноглазый черт!

Тот ухмыляется:

— Ничего. Пусть с детства закалится — рыбаком будет!

Бабушка ругнула деда, а мне говорит:

— Ты руки-то в воду, вот сюда, в лохань погрузи.

Я сунул руки в холодную воду и легче мне стало.

Держу пальцы растопыренными в воде и вдруг чудится, будто под ними что-то шевелится. Выдернул руки, глянул и глазам своим не поверил. Смотрю, а один замороженный налим хвостом по воде раз — аж брызги полетели. Ну и чудеса! Затем другой, третий налим в лохани заворочались. Шлепо-

ток такой поднялся, брызги летят. Самый крупный налиим до того разбушевался, что даже из лохани вывалился. Дед на него пальцем указал и изрек:

— Этого, самого прыткого, сейчас же на сковородку! А я тем временем в лавку сбегаю — не любит налиим посуху плавать.

С этими словами дед исчез, хотя бабушка и пыталась доказать ему, что налииму вовсе теперь безразлично где плавать — по суху или по мокро, потому как, очумелый, он только из-за живучести своей великой не околел насовсем.

Но дед не внял ее словам.

## ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРИЕМ

И вот сидит мой дед за столом, пьяненький, веселый, добрый. Я пристаю к нему:

— Деда, расскажи, как ты налимов в зубах держал? Расскажи...

Дед глаз сощурил, усы свои разгладил и неожиданно захохотал, что-то вспомнив, а потом все же поведал мне такую историю.

На Енисее ледостав идет долго, потому что река эта большая и бурная. Сначала забереги светлые образуются, а потом уж шуга поплывет. Под забереги подваливает рыба. В это время ее и глушат. Идут по льду и смотрят, как сквозь стекло. Увидят рыбу, хлоп обухом топора по льду — рыба-то и всплывает кверху брюхом. Сейчас такой способ добычи запрещен, а раньше он был в большой моде.

Дед мой учился в церковно-приходской школе и был, судя по всему, отменным озорником. Отправился он как-то в школу, да не удержался — вместе с приятелем к реке свернул. Заглушили они несколько ельцов и двух налимов, спрятали их за пазухи и скорее в школу подались. Но на урок опоздали. А первый урок был как раз закон божий. Постучались приятели в класс:

— Можно, батюшка?

Тот им разрешил войти. Спросил, конечно, почему приятели опоздали. Дед что-то врать принялся, но в это время за пазухой у него завозился угревшийся налиим. Ожил не ко времени. Поп это заметил и спрашивает:

— Что у вас, чады, под лопотиной трепещется?

— Голуби, батюшка, — не моргнув сбрыхнул мой дед.

— Голуби? — почесал свою сивую бороду поп да как рявкнет: — Что ж вы, анафемы, божью тварь мучаете? Выпустите!

Вынули приятели из-за пазухи своих «голубей». Узрел налимов поп и вовсе остервенился, ногами затопал:

— Еретики! Богообманщики! Покараю!

Ну, думает дед, насыплет сейчас поп гороху сухого на пол и велит на него коленками встать. Однако поп не поставил приятелей на горох. Он им этак ласково проговорил:

— А возьмите-ка, рабы божьи, своих «голубков» зубами за хвосты и подержите их до конца урока. Зело поучительное занятие...

Стоят «рабы божьи» с рыбинами в зубах. И налимы-то, как нарочно, попались тяжелые — никак их невозможно долго держать!

У деда налим вырвался из зубов, шмяк на пол, а поп, не поворачивая головы, проворковал:

— Подыми, подыми, чадо, рыбину. Совсем немного держать осталось, — он посмотрел на карманные часы и добавил: — всего осьмнадцать минут...

Рассказал все это дед, и мы с бабушкой закатились хохотом. Дед вилок в сковородку ткнул, на которой лежала широкая налимя голова, и сказал:

— Я попов с тех пор готов заживо сожрать, а поселенца по сей день без водки не приемлю — воротит...

Но тут бабушка выразила протест и заявила, что это дед своего рода «политику» придумал и что насчет второй полбутылки у него ничего не выйдет.

## ЛЮБОПЫТНОЙ ВАРВАРЕ

Стал настраивать мой дед жерлицу. Тут же, возле лодок, где и воду для питья брали, и белье полоскали, и выбрасывали рыбы отходы.

— Ну кто тебе здесь попадет? — смеялись над дедом мужики.

А дед себе на уме. Пристроил жерлицу, небольшого карасика на крючок наладил. Очень живучий карась, дня три на крючке будет маяться, пока уснет.

Спустились мы утром на берег, смотрим — что такое: вся бечева на рогульке жерлицы распущена и кто-то водит из стороны в сторону толстую лесу.

— А-а, попалась! — закричал дед. — Я давно заприметил, что щука здесь прикормилась. Днем не показывается — на глубине стоит, а вечером подбирает все, что мы в воду накидаем.

Схватил дед удилище, потянул, но его как дернет — дед и с ног долой. Удилище он впопыхах выпустил. И видим мы — ныряет оно уже далеко от берега. Дед из воды выскочил, кричит:

— Матерая, язва! Догоняй!

Столкнули мужики лодку и на веслах помчались за щукой. А она уже далеко, то утает толстое сырое удилище совсем в воду, то ослабеет и наверх поднимается.

Долго возились мужики со щукой, но все-таки вытащили ее из воды, оглушили веслом и привезли.

Лежит она на камнях, здоровенная, страшная. Взялись ее взвешивать — восемнадцать килограммов! Зверь — не рыба! Я подошел к щуке. Она жаберными крышками тяжело хлопает, глаза выпучила. Под крышками у нее словно угли светятся. Взял я и засунул под крышку палец — пощупать, что оно там такое, а щука захлопнула крышку и не растворяет. Впились в мой палец зубы, как шилья. Больно, моченьки нет. Но я стою со скучающим видом и не реву, жду, когда рыбина снова начнет дышать. Стою минуту, две, три — не выпускает палец щука. Тут я не выдержал, завопил:

— Отпусти-и-и!

Прибежал дед, увидел, что щука в плен мою руку взяла, и дал мне подзатыльника:

— Не суйся куда не следует! Не суйся!..

Высвободил он мне руку. Из пальца кровь льет — просекла его щука зубами в нескольких местах. Оказывается, у старой щуки зубы не только во рту, но и на жабрах имеются. Эти жабры я и видел — красные, как угли. А дед мне говорит:

— Слышал поговорку: любопытной Варваре — нос в двери прижали? Ну вот, теперь знать будешь, как без толку любопытствовать!

---



**Ж**ивут в горных, светловодных реках Сибири и Урала таймени. Рыба эта не только красивая, но и очень сильная, стремительная. Стоит она всегда у холодных ключей или возле шумных речек — охотится не только за рыбами, но и за всякой другой плавающей тварью.

Прошлым летом я с товарищами рыбачил со спиннингом на реке Чусовой. На ночлег мы остановились ниже речки Сылвицы — притока Чусовой. Скалы там над рекой нависли, под ними глубина темная, и речка из скал с шумом выры-

## ТАЙМЕНЬ И МЫШКА

вается. Ну, думаем, здесь обязательно таймень должен стоять.

И не ошиблись. Когда совсем за вечерело и отблески зари, с трудом пробиваясь из-за гребней скал, позолотили гладь спокойного плеса, возле речки раздался хлопок и такой, что эхо, как выстрел, прокатилось меж крутых берегов.

Таймень хвостом ударил!

И принялся он бушевать. Рыбешка мелкая «сигала» на метр от воды, дождем сыпалась, спасаясь от лютого хищника.

Я с лодки бросил блесну. Но не брал ее таймень и только. Несколько шук вытащил, голавля, язя, даже жереха поймал, которые зашли так высоко из Камского моря, а таймень не ловился.

— Брось! — сказали мне товарищи. — Брось, не майся.

А мне так хотелось на спиннинг поймать тайменя, что не было сил от реки оторваться. Все блесны, какие у меня были, перепробовал.

Наконец изнемог я, бросил это занятие. Похлебали мы уши, спать на берегу улеглись. Луна вышла, осветила плесо. Все оно словно белой пленкой свинца подернулось. В отблесках этих видны отражения скал и деревьев. Кузнечики звенят. Тишина. Только всплески рыб нарушают эту тишину. Но я не обращаю внимания на эти мелкие всплески. Я слышу один.

Я слышу один.

Вот он ахнул раз, другой, третий и затих. Пиратничает таймень, охотится дьявол, а мне из-за него сна нет.

Потом возле речки зашлепал хвостом таймень, еще, и еще.

Не выдержал я, схватил спиннинг и давай с берега забрасывать. Товарищи мои спят, а я реку хлещу, я хлещу.

Слышу, захрустели шаги по камешнику. Кто-то на огонек идет. Поздоровались, закурили. Смотрю — тоже рыбак со спиннингом. Я ему рассказываю, так, мол, и так. Вздохнул незнакомец:

— Да-а, не берет на блесну таймень. Капризный хозяин в этих водах, лихой хозяин. Дескать, когда захочу, тогда и блесну схвачу. Я сегодня тоже целый день воду бью без толку.

В это время под скалой, совсем близко от нас, таймень выбросил широкий, острокрылый хвост и рассек им лунную полоску напололам, будто лист стали раздвоил. И сразу же на этом месте чуть взбурлила вода.

— Пойдите! — встрепенулся рыбак. — Он ведь мышку оглушил. А ну, попробуем, ну-ка, попробуем!

Быстро развязал незнакомец рюкзак и вынул из него искусственную мышь, сделанную из пробки. Я поднес ее к огню, разглядел. Пробка обтянута крепким полотном. Есть носик, хвостик. Вместо лап крючки, на спине крючки. Вся мышь в крючках.

Прикрепил это изделие рыбак, взмахнул, зашуршала катушка. Под скалой всплеснуло. Стал вращать катушку рыбак, сматывая лесу. Я вижу: из-под скалы на светлый блик выплыла мышка. Струйки от нее по сторонам расходятся, темное пятнышко видно. И вдруг: Раз! Раз! Раз! — подряд три хлопка. Ударил таймень хвостом накрест и тут же рыбак сквозь зубы сообщил:

— Есть! Взял!

Заходил таймень, забушевал. Вода кипит. Рыбак никак совладать не может с ним.

— Здоров черт! — дрожащим голосом, все так же, сквозь стиснутые зубы, сказал он. — Идет! Ослаб, видно.

Таймень позволил себя вести метра три-четыре, а потом рванулся так, что рыбак катушку удержать не смог. Я услышал прискорбное известие:

— Сошел.

Подмотал мышку рыбак. Два тройника из нее с корнем вырваны.

Снова заброс, и снова таймень бросился на мышь, предвзительно «оглушив» ее хвостом. И на этот раз не удалось его вытащить. Так всю ночь мы бегали по берегу и всю ночь таймень хлестал злосчастную мышь, сделанную из пробки, пока не выдернул из нее все крючки.

К утру от изящно сделанной мышки осталась одна пробка да жалкие клочья клееного полотна.

Рыбак долго сокрушался, а потом сказал:

— Ну, помирать буду, а этой ночи, этого великого удовольствия не забуду.

Он долго ворочался у костра, время от времени выкрикивая:

— Кэ-эк он ее даст! Ну, красота-а! Ну, сила! Ну, это черт знает что! А мышку я переконструирую, непременно переконструирую. Я его, собакиного сына, все равно переборю!

Так он и уснул, расстроенный и счастливый. Я же забылся часок и рано-рано вскочил.



Туман над рекой, тишь. От скал холодком тянет. Все кругом спит, даже рыба не плещется и птицы пока молчат.

Стараясь не шуметь, выплыл на плесо, пустил лодку. Медленно она плывет по середине реки. Делаю заброс — щука, второй — щука. Радуюсь тому, что на Чусовой, которая еще лет пять назад была вовсе безрыбной, стала такая отличная рыбалка.

Это Камское море нас выручает. Оно стало, как рыбий садок. Каждую весну в наши реки поднимаются с моря тучи мальков. Появились даже судаки, язи, голавли и лещи. А мелких окунишек, плотвы, ельца, красноперки, — как саранчи, навалило.

Вот лодку поднесло к скале, возле которой трепещется студеный ручей. Делаю заброс к ручейку, считаю до пяти, чтобы блесна опустилась на дно. Поворот катушки, толчок, подсечка — и вот заходила, заходила рыбина на блесне. Бьется она упругими толчками, резко бросается в стороны. Чувствую — не щука это, но пока еще не могу поверить, что взял тайменя. И вдруг на верх воды с шумом вываливается пятнистый бок с ярко-багровыми плавниками, а затем яростно хлопает хвост, как отблеск зари, как осенний нарядный лист.

— Таймень! — гаркнул я не помня себя от радости.

Товарищи вскочили, подбежали к воде и принялись давать мне всевозможные советы. Но я не первый год рыбачу и знаю, что сейчас нужно меньше слушать советов, а больше выдержку сохранять и не терять головы.

Ходит таймень вокруг лодки, стремительно бросается под нос, выбрасывается наверх. И когда на секунду слабеет леща, я слышу вопли с берега:

— Отпустил! Отпусти-ил! — И тут же: — Да нет! Не ори-те! Типун тебе! Тяни давай! В лодку выбрасывай! К нам плыви!

Лодку потащило быстрее. Впереди пережат и здесь, на быстрине, мне с тайменем не совладать. Тогда я выпрыгиваю из лодки и спешу на берег. Таймень уже ослаб, утомился. Я подвожу его к берегу и с ходу, но не рывком, вытягиваю на камни. Ударился, взвился гордый речной атаман на берег, но уже поздно. Он у меня в руках.

— Наконец-то! — ликую я и с восторгом гляжу на узкую пятнистую рыбину с изящной головой, с нежно-белым брюш-

ком, от которого расходятся по бокам серые и красноватые крапинки.

На глазах таймень теряет окраску, вянет, блекнет. Сходит позолота с его боков и спины. Да, такая рыба может сохранить окраску только в кристально чистой и студеной воде. Недаром в прошлые годы, когда Чусовая была мутна, таймени гибли сотнями и спаслись только те, что ушли в малые речки или спустились вниз.

Товарищи мои вброд перемахнули Чусовую и рыбак с ними. Он посмотрел на тайменя и сказал:

— Не тот.

Я и сам заметил, что во рту пойманного тайменя нет ни одной царапины, да и размером он гораздо меньше.

Тот — стремительный и неукротимый красавец — еще живет в Чусовой. Он еще ждет счастливого рыбака и, может быть, ему покорится.

---



Эту собаку зовут Злодейкой, хотя ничего злодейского она не совершила. Получила она такое имя за усердие. Да, да, за усердие.

Есть люди, которые любят всякие «совместительства», проще сказать, занимают по полдолжности, ну и конечно так они и работают — серединка на половинку, целиком не отдаваясь ни одному делу.

И на рыбалке такое тоже случается. Едет человек рыбачить и ружье с собой прихватит: авось, мол, рыбы наловлю и подстрелю чего-нибудь.

А рыбак, о котором я хочу рассказать, не только ружье, но и собаку с собой прихватил, чтобы,

## ЗЛОДЕЙКА

так сказать, уж все разом сделать: и порыбачить, и поохотиться, и собаку «натаскать».

Звали ее Фишкой. Была она молоденькая, шустрая, с умильными глазами.

Хозяин ее, Паша Усольцев, приехал на станцию Утес, а оттуда к реке Усьве пошел. Идти километров пять, лесом. Фишка всю дорогу по кустам металась, взвизгивала от радости, мышинные норки раскапывала. Иногда она подбегала к Паше и так-то преданно, восторженно глядела на него: дескать, я так тебе благодарна, так благодарна, что и выразить не могу!

«Видно, показать ей свежий след на первый раз нужно, а потом уж пойдет дело», — подумал Паша.

Нашел он барсучью норку, за шиворот Фишку поймал и сунул ее носом в рыхлую землю. Фишка понюхала землю, хвостом понимающе вильнула, еще раз понюхала, а потом к хозяину обернулась. На носу у нее земляца, в глазах восторг.

— Ищи, ищи! — напряженным шепотом приказал Паша.

Фишка взвизгнула и подала хозяину лапу — снова благодарила хозяина за все радости, доставленные ей, и за эту милую шутку.

Пнул Фишку хозяин и больше не искал ей свежие следы, понял, что бесполезное это занятие.

На Усьве он сколотил плотик, положил рюкзак, посадил рядом с рюкзаком Фишку, ружье пристроил возле своих ног и поплыл. Плывет и хлещет спиннингом по воде, плывет и хлещет. Поклевки нет, только трава за блесну цепляется.

Долго плыл Паша Усольцев и ничего не поймал. Пришел он в окончательное уныние и стал ругать Фишку. Лениво ругал, так, от нечего делать. А она думала, что он с ней беседует на мирные темы и хвостиком согласно повиливала.

Но вот и Красная глинка — крутой, обрывистый берег, с бурями обнажениями, в вымоинах поросший тощим лопухом и кое-где кипреем. Красная глинка километрах в восьми от города Чусового. Когда-то здесь водилась прорва рыбы. Амонал, острога, бот, мелкочейные неводы, мережи и другие браконьерские средства сделали свое дело — возле Красной глинки почти не осталось рыбы. Но по старой памяти городские рыбаки ходят сюда, иной раз собирается их здесь к ночи человек по двадцать.

Плесо возле Красной глинки глубокое, изогнутое дугой, а чуть ниже шумит стремительный пережат. Буйно плескались здесь когда-то таймени, хариусы, в засаде возле упавших

лесин и в траве стояли щуки, кормились в омутистой глубине язи и голавли. А теперь только изредка можно увидеть здесь в тихий вечер или на утренней зорьке, как серпом выбрасывается из воды яркоперый таймень и оглушительно хлещет хвостом по воде.

Но трудно поймать тайменя возле Красной глинки. Очень уж «умна» здесь стала рыба. Очень уж много раз «брала» она и «срывалась», очень уж много видела на своем веку. Однако нет такого рыбака на свете, который бы не мечтал поймать ту рыбку, которая чуть было не попала к нему.

Вот и в тот раз спиннинг в десять обрабатывали рыбаки плесо. Каких только блесен не подбрасывали, как только не ловчили — не брал таймень. Плескался, буйствовал, на виду рыбешку гонял — и не брал. Устали рыбаки, махнули на это дело рукой, к костру подались.

Из-за поворота плотик выплыл. Медленное, кружливое течение от берега к берегу его таскало. На плотике Паша Усольцев и Фишка. Паша трудился, успевал сделать побольше забросов, пока его не пронесло по плесу, не подхватило раскатистое течение на перекате.

— Брось, не старайся! — крикнули Паше рыбаки. — Мы уж тут каждый метр квадратно-гнездовым, пропашным и всякими разными способами обработали.

Паша не отвечал: Паша трудился.

Внезапно раздался треск катушки и мы увидели, как согнулось удилище в руках Паши, как он весь напрягся, шире ноги расставил и началась борьба.

Таймень не давался Паше. Он был «битый», этот таймень и, очевидно, не раз уже вывертывался из трудного положения. Он стремительно бросался из стороны в сторону, раза два выметнулся наверх и ныром уходил под плот.

Берег ревел. Каких только советов не подавал народ! Но Паша не отвечал, он боролся молчком.

А плот уже подносило к перекату. Таймень ослаб. Паша подводил его все ближе и ближе. Вот возле самого плота забился, забушевал речной богатырь и тут Фишка, о которой все забыли, не выдержала, бросилась на тайменя сверху, как лев, ну и, конечно, сняла рыбку с якорька.

Паша подмотал катушкой блесну, а Фишка выпрыгнула на плот и отряхнулась. Деловито так отряхнулась, с чувством — поработала.

Народ на берегу стонал. Паша глянул на Фишку и схватился за голову:

— Дур-р-рак! Дур-р-рак! — вопил он. — Зачем, ну зачем я тебя, злодейку, взял с собой! Зачем?! — это он говорил Фишке. — Злодейка ты! Что ты наделала?!

Фишка виновато облизнулась и горестно взлаяла, дескать, хочешь все как лучше сделать, а получается не так да не этак...

Плот уже подхватило бурным течением на перекате и быстро понесло. Паша отчаянно рвал на себе волосы.

С тех пор Фишка стала Злодейкой.

Так жизнь еще раз подтвердила, что совместительства никакой пользы не дают, что за двумя зайцами, как гласит мудрая пословица, гоняться не следует. Тем более не следует гоняться и за дичью, и за рыбой — ни того, ни другого не добудешь! Если мне не верите, у Пашки Усольцева спросите.

---



## ВВЕРХ ПО ЯЙВЕ-РЕКЕ

Она понравилась нам сразу. Не особенно широкая, стремительная на перекатах и светлая до того, что на дне виден обточенный водою, пожелтый ледоходом камешник.

На берегу приткнута дюжина лодок и катера невиданной формы. Они очень широкие, длинные, мелкодонные. Сделаны из обыкновенного теса. Посреди такого неуклюжего сооружения мотор, снятый с автомашины. На одно из суденышек люди грузили бочки, ящики,

30

## ЗА СИННИМИ ГОРАМИ

тюки. Моторист, молодой черноглазый парень, оказался заядлым рыбаком, а это уже удача. Рыбак рыбаку — родной человек. Без лишних рассуждений и вознаграждений он дает нам лодку, сам помогает прицепить ее к корме катера, обещает показать хорошие для ловли места.

Мой напарник не вытерпел-таки, сделал несколько забросов. Я мужественно держусь и не собираю спиннинг, тем более, что моторист говорит нам:

— Эй, друзья, садитесь давайте, успеете еще, натешитесь.

Моторист, зовут его Иваном, склонился над мотором, что-то там покрутил — и катер, низко осевший в воду от тяжести, затарахтел и вздрогнул.

Плоскодонное суденышко норовисто выбегает на струю, со скрежетом дергает нашу лодку. Иван оборачивается и жестом показывает, что надо рулить веслом. Место стоянки с выводком разномастных лодок уплывает от нас, отдаляются поселок Яйва, огороды. Из-под катера с шумом вылетает вода, шлепается о нос нашей лодки. У затопленного водой островка приветливо кланяются нам гибкие лозины тальника.

Но вот уже и поселок исчез за поворотом, впереди появляется лесосплавная гавань. Неуклюжий катер жметесь к обрывистому берегу, где его меньше давит свирепое течение. Медленно огибаем остров. Приближаются горы. Впрочем, горы на протяжении всего нашего пути были только с правой стороны по течению, левая же — низкая, болотистая.

Нет, не похожа Яйва на те уральские реки, где мне приходилось бывать. Обычно они сжаты со всех сторон горами, виляют из стороны в сторону, загибаясь во множество кренделей. Яйва — река упорная. Она если и изгибается, то по своему.

Вот впереди начинается пережат, но не такой, что бурлит и мечется на протяжении пятнадцати-двадцати метров и сникает. Этот тянется километра три, ровно, как по линейке. И глубина в нем — два-три метра. Но какой здесь мощный напор воды!

Катеришко наш тащится еле-еле, хотя мотор трудится изо всех сил. Мы идем возле длинной гряды, усыпанной ельником и пихтами, а на другой стороне все еще тянется гавань. Она расположена очень удобно — в глубокой и тихой протоке, которую отделяет от русла реки цепь островов. Между островами стоят огромные ледорезы, поврежденные вешним ледоходом. За ними плотно сгрудившиеся бревна, местами образовавшие торося.



Но вот, наконец-то, мы миновали гавань и пережат. Река делает крутой поворот, горы удаляются, оставляя полукруглую пойму с великолепными лугами и мелкими озерами. Теперь весь напор течения на левую сторону. Из подмытого берега торчат корневища. Ели, пихты, березы и даже кедры упали вершинами в воду. Возле них ямы, кружливое течение и дальше почти неподвижное широкое плесо с заливчиками, островами, суводями.

Вот где рыбалка, вот где должно водиться множество язей, голавлей, окуней и щуки! Но дальше и дальше тянет нашу лодку неуклюжий, однако на удивление вездеходный катерок, и снова впереди ровный, мощный пережат. Потом снова плесо. Длиннее становятся плеса, короче, стремительней и мельче пережаты. Теперь все чаще попадаются места, где река вдруг начинает разбегаться на рукавчики и рукава.

Проезжаем несколько деревушек. Все они расположены на правой стороне. Ни одной избушки мы не заметили на левой. Там болота, болота, болота, заросшие редким, невзрачным лесом, затянутые мхом, камышами и осокой.

Ненадолго наш катер задерживается в поселке лесозаготовителей с казенным названием — База.

Поселок большой, новый. Собирается много народа, особенно ребятишек. Продукты катер везет дальше, в поселок Камень. Нам предстоит остановиться ниже его километрах в пяти. На одном из пережатов винт нашего «вездехода» задевает дно. Иван сбавляет обороты, направляет катер влево, вправо. Везде мелко. Из-под винта, как шрапнель, вылетает мелкая галька, кудлатым хвостом мчит мутная вода.

Катер застрял. Иван выключил мотор. После надоедливо таракатенья кажется необычно тихо. Слышно, как шумит пережат.

Иван шупает мотор и командует:

— Закуривай, курачи!

Закуривает он и сам, смачно сплевывает в воду и обращается к нам:

— Сейчас, хлопцы, будет Плаксивый, затем протока Новина, а после нее Солоная, на которой вы и остановитесь.

Мы несколько озадачены тем, что, сидя на мели, он так спокойно рассуждает о дальнейшем пути. Но все быстро разясняется. Иван начинает бесцеремонно трясти прикорнувших на тюках грузчиков и командует:

— Кончай ночевать! В шесты!

Те послушно вскакивают, вооружаются шестами. Иван за-

водит мотор, и катеришко, дрожа всем корпусом, со скрежетом пробивается вперед.

Мель прошли.

Иван прибавляет обороты, грузчики затягивают песню.

## ПЕРВАЯ УДАЧА

Названия, которыми забросал нас Иван, объяснились сами собой. Вот Плаксивый. Это крутой, подмытый берег. Из болота течет множество ручьев. Корни деревьев и, по-видимому, прочные береговые отложения не дают ручьям течь единым руслом. Вода падает вниз множеством мелких струек со свесившихся корней, с травы. Кажется, что берег в самом деле плачет медленными, незатихающими слезами.

Плесо возле Плаксивого самое большое и глубокое. Глядишь вниз — и становится не по себе. Темная, неподвижная вода. Мраком и холодом веет от нее. А тут еще вплотную придвинувшийся хвойный лес, берег в слезах и клочья желтой пены, лениво покачивающиеся на волне, поднятой катером. Плаксивый — знаменитое рыбацкое место на Яйве.

Но мы едем дальше. Вот и Новина. Название ее определить так же нетрудно. Это короткая, недавно промытая водой протока. Минуем её и с помощью шестов пробиваемся еще через два переката. Последний особенно бешеный. Но вот и он позади. Впереди не особенно крутой поворот, за ним короткое, но глубокое плесо. Иван подводит катер к галечному берегу и глушит мотор.

— А ну, хлопцы, повеселите душу!

Мой напарник со всех ног бросается на берег и начинает шлепать блесной. Иван объясняет ему, где мы находимся. Я тоже прислушиваюсь.

— Сейчас мы стоим на большом острове, который отделяет протока Солоная. Там, — машет он рукой в неведомое нам место, — есть речка Солонишка. Вода в ней соленая. В войну, когда с солью было плохо, бывало, пять ведер сварить — кило соли. Так вот из-за этой речки и протока называется Солоной. Лосей возле этой речки полно. Я завезу вас в верх протоки, и вы оттуда вниз спускайтесь. Будет дело. А сейчас пойдем в одно место, там обязательно на уху возьмешь. Здесь, видишь, нашумели.

Они уходят. Я сижу на берегу вместе с грузчиками и лесозаготовителями, которые, развалившись на траве, благодушно наслаждаются редким в это лето погожим днем. Пожилой мужчина, его все называли мастером, просит, чтобы я показал спиннинг. Я собираю его, прилаживаю катушку и прикрепляю блесну «шторлинг». Усатый мастер вертит это хрупкое на вид сооружение, хмыкает и чешет затылок:

— Такой удочкой только пескарей таскать.

Я не возражаю. Знаю, что русского человека можно убедить только делом.

Моего напарника, Виктора Семеновича, с Иваном все нет и нет, а спиннинг у меня в руках. Разве утерпишь, чтобы не сделать заброс, о котором мечтал почти год! Я отцепляю лодку и толкаюсь шестом выше катера к ручейку, запутавшемуся в черемушнике и тальнике.

Уютный уголочек!

Утыкаю лодку в берег — и с замиранием сердца делаю первый в этом году заброс. Блесна летит всего метров пятнадцать. Отвык я ее забрасывать.

Люди на берегу с любопытством поглядывают на меня. Быстро вращаю катушку, чувствую несколько упругих толчков, подсекаю, но блесна уже наверху и на ней ничего нет. Возможно, за коряжину или старую траву зацеплялась. Дна-то я здешнего не знаю.

Мне хочется на удивление грузчикам и особенно этому старому усачу запустить блесну как можно дальше. Я с силой размахиваюсь и в результате — захлест на ручке катушки. Успеваю прихватить ее и «бороды» не получается. Блесна громко шлепается метрах в десяти от берега. С неохотой поворачиваю несколько раз катушку. И вдруг резкий толчок, маленькая ручка вырывается из пальцев. Я хватаю катушку за корпус, пытаюсь затормозить, но куда там!

Все-таки мне удалось поймать ручку. Сколько хватает силы в пальцах, затормаживаю катушку и вижу, как леса моя тугой струной режет воду. Чувствую резкие толчки, мотаю как могу быстро, не помня себя, ору:

— Взяла! Взяла!

Но люди и сами уже заметили, что взяла. Они толпятся у лодки, что-то кричат, размахивают руками. Мастер дискантом вопит:

— Поломает! Поломает! Куда ты ехал?! На рыбалку, с таким-то удищем?!

Я хочу ему возразить, но мне некогда, рыбина бьется в глубине, к лодке не подходит.

Поняла, видимо, что силой ей меня не одолеть, рванулась к берегу, в устье речушки. Леса ослабла и, воспользовавшись этим, я сделал несколько стремительных оборотов катушки.

— Не пускай в речку, не пускай! — орут мне с берега.

— Пускай, здесь мы ее схватим!

— Мотай, мотай!

— Эх, удилище-то, удилище! — стонет усатый мастер.

Да, жидкое, бамбуковое удилище угрожающе гнется — выдержит ли? И какой там черт уцепился, что я не могу с ним справиться? А на берегу буря!

— Дай сюда удочку! — требует мастер.

— Размазня! Упустишь! Эх!

Как мимолетный кадр на экране, мелькнул мастер с выпученными глазами, с трясущимся подбородком и почему-то без фуражки.

— Лодку оттолкните, лодку...

— Не смей! — останавливаю я непрошенных помощников и снова отпускаю катушку. Быстро, с треском вертится она, отдавая добытые мной в бою с невидимой рыбиной метры.

— Упусти-и-ил! — визжит на берегу народ.

— Да не шумите вы, ничего не отпустил, так надо, — соврал я.

И эти не попад брошенные слова «так надо» немножко отрезвили меня. Но я не ловил еще на спиннинг крупных рыб и выдержки моей хватило ровно настолько, чтобы увидеть добычу. Я подвел рыбину к лодке. Это была щука. Увидев большую голову щуки, свирепые глаза, широкий белый бок, я потерял всякий рассудок. Начал вертеть катушку, не обращая внимания ни на удилище, ни на народ, орущий на берегу.

Но все-таки я выполнил чей-то совет.

Кто-то подучил меня схватиться за грузило. Заметив его близко у лодки, рывком протянул руку, но схватился не за грузило, а за лесу. Сразу почувствовал, как обожгло безымянный палец. Удилище я впопыхах бросил и теперь боролся с рыбиной, держась за лесу.

Конечно, я упустил бы щуку, но выручил случай. Я неожиданно поскользнулся и упал на борт лодки. В нее хлынула вода. Где-то совсем рядом увидел разинутую шучью пасть, рванул, что было силы и огромная рыба вместе с потоком

воды влетела в лодку. Я упал на нее животом. Спустя минуту заметил, что щуку мою колотят мои помощники. Колотят, кто чем: веслом, камнями, а мастер — кулаком. Они не щадили ничего, топтались по багажу. С ужасом увидел, что чей-то резиновый сапожище уже наступает на спиннинг...

— Эй, довольно! Вы что, очумели? — закричал я, схватив спиннинг.

Грузчики сконфуженно посмотрели на меня, потом друг на друга и начали хохотать. А усатый мастер изумленно глянул на окровавленный кулак, который попробовал-таки щучьих зубов, смущенно развел руками и пошел искать фуражку.

Я сидел посреди лодки мокрый, изнеможенный и такой счастливый, что словами не передать. В лодке, разбрызгивая воду, хлопала красивым хвостом щука. На голове у нее кровавилась глубокая борозда от острого якорька — след первой поклевки, которую я принял за обыкновенный зацеп.

Из лесу появились Виктор Семенович с Иваном. Поднимаю за жабры свой первый, трудный трофей, хочу сказать небрежно, что вот, мол, на ушишку добыл, но не могу перебороть бушующее во мне торжество:

— Глядите! Дивитесь!

Грузчики тоже с видом победителей смотрят на них, определяют на глаз вес щуки и уверяют, что пять килограммов будет наверняка.

Лишь мастер сидит в сторонке и смущенно поплеывает. Ему, старому человеку, руководителю, вероятно, очень неловко от того, что он против своей воли ударился в детство и вел себя так легкомысленно.

Он ждал насмешек, но никто не смеялся. Все радовались.

## **АХ ТЫ, НОЧЕНЬКА...**

И снова тарыхтит катеришко, снова впереди перекаты, упавшие в воду пихты и ели, от которых в панике брызжут рыбешки, мелькая в воздухе серебряными монетками. Нам весело. Мы полны самых радужных надежд. Посреди лодки лежит щука, тяжело двигая жаберными крышками и время от времени хлопая хвостом. Живучая рыбина. Артелью не могли ее уgomонить.

Наконец за крутым поворотом, возле сплавного бона, Иван

останавливает катер и велит нам следовать за ним. Мы перетаскиваем лодку через бон и плывем по узенькой протоке, над которой сомкнули густые ветви ивы, черемухи, вербы. Стремительно мечется по сторонам сорожник, отваливают вправо и влево табуны окунишек, исчезают под листьями лапушника. Водяная чума уже наползает от берегов, свивается паутиной, оставляя щелочку посредине проточки. Скоро будет еще теплее и тогда чума — этот водяной мох — затянет всю протоку.

Впереди просвет. Лодка выплывает на большое и круглое, как озеро, плесо.

Слышим голос Ивана, причаливаем. Он сидит на берегу, курит, молчит и только ликующим взглядом спрашивает: «Ну, как?»

— Замечательно! — в голос отзываемся мы. — Не плесо, а мечта!

С чувством исполненного долга Иван уходит, пообещав на обратном пути завернуть к нам на уху.

Мы сложили багаж в старом остожье и устремились со спиннингами на плесо. Не хочется, чтобы такой вечер пропал напрасно.

А вечер чудесный!

За дальней грядой гор садится солнце. В небе ни одного облачка. Только солнечное марево у горных вершин, мягкое, бледное к середине неба, золотит голубизну, наряжает высь в призрачное сияние. Легкие, ненадоедливые блики падают на широкое плесо. И оно млеет от собственной красоты, наслаждается покоем.

Рыбки безбоязненно выходят на поверхность. То в одном, то в другом месте по глади расплываются ленивые круги. Низко, почти касаясь белыми брюшками воды, проносится парочка уток. Заметив нашу лодку, утки взмахивают вверх, заваливаются на правое крыло и, облетев нас, снова снижаются.

Далеко на болотах деловито курлычат журавли. Возле берега суетятся заботливые трясогузки. Одна из них присела на нос нашей лодки и с независимым видом ощипалась, встряхнула хвостиком. Виктор Семенович взмахнул спиннингом и птичка заспешила к берегу, поныривая на лету.

Тишь! Покой и такая благодать кругом, что хочется сидеть неподвижно и слушать, слушать.

Но мы рыбаки и мы добросовестно, даже с азартом, хлещем по тихому плесу блеснами. Поклевок нет. Напарник мой нервничает и озабоченно бормочет:

— Такое плесо! Такой вечер — и не берет! Тут что-то не то.

Я и сам удивляюсь не меньше его. После первой и неожиданной удачи я был уверен, что по крайней мере через каждые два заброса мы будем снимать с тройников шук. Виктор Семенович меняет блесну, а я делаю заброс к узкой горловине, в которую сливается плесо и за которой волнуется пережат.

Резкий толчок. Поклевка! Начинаю быстро подматывать лесу, рыба сопротивляется, вываливается наверх, взбурлив воду, и... сходит.

Жалко, но ничего. Теперь-то уж мы знаем, что и здесь, на тихом плесе, есть крупная рыба.

Виктор Семенович просит высадить его на берег, уверяя, что сейчас щуки и окуни вышли кормиться к пережату и что там уж он наверняка «зацепит дуру». Я молча, но от души желаю ему удачи.

Поднимаюсь на лодке до нашего стана и снова начинаю стегать плесо справа налево, слева направо. Откровенно говоря, пора уже разводить костер и варить уху, но Виктор Семенович категорически запретил мне резать такую крупную и красивую щуку, заявив, что «не мы будем, если на уху не добудем».

«А уха-то ходит где-то в воде и на блесну смотреть не желает», — размышляю я, равномерно сматывая лесу на катушку.

Вдруг рядом с пучком травы, высунувшимся из воды, что-то шлепнулось, оттуда очумело метнулась пичужка, а затем расплылись дугой валы.

«Ага, кумушка пиратничает!» — отметил я и, унимая дрожь в руках, швырнул туда блесну. Всплеск! Поворот катушки — и вот она, милая, заходила, загуляла.

— Ага, попалась!

— Чего у тебя? — раздается издалека голос Виктора Семеновича.

Я подвожу к лодке щуку, с ходу поднимаю ее на удилище и забрасываю в лодку.

— Уху поймал!

— А у меня пусто, — слышится унылый ответ.

Мне жаль напарника.

— Ничего, друг, не горюй, еще поймаешь!

Я поплыл кашеварить и, отталкиваясь шестом, затанул:

Сидел рыбак весе-олий,  
На берегу реки...

— Не ори ты там! — раздраженно крикнул Виктор Семенович, уже перебравшийся по перекату на другую сторону протоки. Я покорно умолк: надо же щадить самолюбие!

Вот и огонек разгорелся, а напарника моего все нет. Я нарубил веток для подстилки, выбрал из остожья немного прошлогоднего сена под бок. Жду, растянувшись на траве. Темнеет.

Только узенькая, линияяя ленточка зари вытянулась вдоль гребня дальних гор. На фоне бледной зорьки проступают пики острых елей. Здесь леса сделались как бы гуще, сдвинулись плотнее. Замолкли птицы. Лишь неугомонные кулички, радуясь тихому летнему вечеру, завели свои игривые, убыстряющиеся в полете песни: — «Киви... Киви, киви, киви-киви-киви».

Их много, этих голосистых куличешек, на наших русских реках. Люблю я их, длинноногих, голосистых. Они приносят с собой охотничью весну. Они своим пением подгоняют ручьи, до самых дальних гор провожают вечернюю зорьку и делают побудку среди речной пернатой армии по утрам.

Дотлела зорька. Кузнечики прибавили прыти. Их многоголосый трезвон слился в единую бесконечную музыку. Темнота обступила костер. Вокруг него виднеются бледные пятна цветов. Эти желтые цветы на Урале зовут колокольчиками, в Подмоскovie — купавами, а в Сибири — жарками, потому что в Сибири они огненно-яркого цвета и светят в траве, как жаркие угли.

Сибирь! Родина моя! Далекое и вечно близкое детство, ночи у костра и пахнущие летом цветы жарки, и песни куликов, и звон кузнечиков, и такие же, как сейчас, мечты о томительном далеком!

Ах ты, душа рыбацкая, неугомонная и вечно молодая душа мечтателя! Сколько запахов впитала ты в себя, сколько радостей пережила ты, сколько прекрасного, недоступного другим влилось в тебя вместе вот с этими ночами, вместе с теми вон далекими, дружески подмигивающими тебе звездами.

Ах ты, но-о-чень-ка,  
Но-о-очка те-о-мная...

Опять затягиваю я, забыв о своем напарнике, о рыбе, которую пора спускать в котелок, обо всем на свете. Унимаются кулички, замирает все вокруг, только темная ночка слушает, как я славлю ее, как печалюсь вместе с нею и как радуюсь ей.



Шуршит трава. Появляется Виктор Семенович, заглядывает в котелок и молча берет весло, на котором лежит разрезанная на куски щука. Спустив рыбу в котелок, он садится на траву и подтягивает мне:

Только есть у меня  
Добрый молодец...

Вдали слышен рокот мотора. Он нарастает, приближается. — Товсь! — командует по-моряцки Виктор Семенович и я, похрустывая суставами, поднимаюсь с травы.

Браво насвистывая, идет Иван. Идет уверенно, как человек, превосходно знающий здесь каждую тропинку и кустик. Он сразу же возникает в свете костра, чумазий, веселый, бодрый. Вот такие они и бывают чаще всего, рыбаки — компанейские, бескорыстные и задорные ребята.

Без стеснения подсаживается он к нашему костру, чокается с нами эмалированной кружкой и провозглашает:

— За знакомство!

— За знакомство и за эту ночь, — обожу я вокруг себя рукой.

— Правильно! — поддерживают меня друзья.

В душе мы все — поэты.

## УТРО, КАКОГО В ГОРОДЕ НЕ БЫВАЕТ

Городского человека по утрам чаще всего будит какой-нибудь шум: звон будильника, гудок, грохот колес, сигналы автомашины, а то и гром посуды, уроненной стряпухами на кухне... Не часто нам приходится просыпаться от тишины.

Да, да, от тишины!

Вот как это бывает или, точнее, как было в то утро.

Сон неуверенно и медленно уходил от меня. Организм привык, чтобы его что-то взбудоражило и разом стряхнуло сон. А тут — тишина. Тишина и прохлада.

Устал ждать. Неуверенно открыл глаза и увидел над головой зеленый куст ивы, усыпанной каплями росы. Трава, цветы опились за ночь влагой, поникли их стебли и головки. Они тоже отдохали, благоговейно ожидая солнца.

Я приподнялся, сел. Над водой, словно полосы снежной поземки, летели клочья тумана. Задевая прозрачными крыльями кусты, туман застревал в них, густел, как бы окуривая зелень седым дымом. Ближе к перекату туман вытягивался

полосой, устремлялся точно в трубу, а над самым перекатом метался мелкими клочками, напоминающими сорванные ветром головки крупных одуванчиков. В заливчиках плеса скопились пятнышки белой пены. Казалось, что за ночь на воду кто-то набросал множество белых ромашек.

Молчали птицы, молчали кузнечики, даже рыба спала и не играла на плесе. Сон и туман окутали все вокруг.

Однако рыбаку спать в такое утро — непростительный грех. Хочу толкнуть товарища, но он уже разомкнул веки и тоже смотрит во все глаза, смотрит, слушает.

Я бегу по траве к берегу, оставляя за собой темные полосы. Сапоги мои блестят от росы. Забретаю в воду. Из прибрежной осоки заполошно «сигают» малявки. Сонный окунишка запутался в траве, забился и в панике выкинулся на кочку. Он растопырил все колючки, готовый защищать свою маленькую жизнь. Но никто на него не нападал, и он бочком, бочком соскользнул в воду, да как помчится по самому верху, прочеркивая гладь воинственно поднятым грешком.

И вот мы снова среди плеса, немножко вялые со сна. Делаем первые забросы. Лодку кружит и медленно несет течением. Я подматываю блесну. На тройнике усом висит трава, блесна не играет. Отцепляю траву, замахваюсь для второго заброса, но слышу тихое: «Ша!»

Виктор Семенович глазами показывает мне под склонившийся над водою черемушник, где расходятся плавные круги.

Я вглядываюсь пристальней и вижу парочку уток, вероятно, ту самую, что пролетала вечером над нами. Селезень, поистративший свою весеннюю красоту и изрядно отошавший, безо всякой опаски кормится, то и дело погружая в воду голову. А утка окунется, почавкает и тут же озирается, покрякивая. Можно даже догадаться, о чем она говорит своему непутевому супругу. Дескать, вечно вы, мужики, такие. Ни заботы, ни печали. Поесть, выпить да выспаться всласть — вот и вся ваша забота. А нам приходится крутиться, как заведенным: яички снеси, потом детишек расти, переживай за них, да еще на кормежке тебя, беспутного, караул.

Селезень вынул из воды голову, крякнул раздраженно, не переставая закусывать, и мы поняли это так:

«Довольно тебе ворчать. Вот пила! Срок охоты кончился, а ты все еще трусишь!» — «Понадейся на тебя, так быстро в котелок браконьеру угодишь. Он, браконьер-то, не больно

сроки признает», — отвечала рассудительная и недоверчивая утка.

Так они перебранивались между делом, а нашу лодку наносило все ближе и ближе на куст.

Я залюбовался труженицей уткой. Нелегкая у нее доля. Супруг утки, действительно, худой помощник и страшный эгоист. Он франт не только по виду, но и по духу. Если уж он завел жену, то требует от нее полной и безраздельной любви, заботы и внимания. Он даже не хочет знать никаких родительских обязанностей. Если заметит, что утка гнездо вьет — раскидает его и утке трепку задаст. Вот утка и ублажает его, караулит на кормежке, а потом на ночевку определит и клювом ему все перышки переберет, всего гнуса из них вычистит и жиром их смажет. А когда супруг благодушно уснет, она потихоньку уйдет в кусты и скорее, скорее гнездо сделает. Не дай бог, если супруг обнаружит яйца или даже утят — все расклюет и детей не пощадит, деспот утиный.

Право же, есть доля справедливости в том, что весной разрешают бить селезней, а не уток. Этому утиному «стиляге» самое место в похлебке.

Лодка у самого куста. Утка заметила ее черный силуэт, выдвигающийся из тумана, отчетливо крякнула и побежала по воде возле стенки осоки. Селезень бестолково огляделся, и, видимо, не совсем уразумев, в чем дело, ринулся за ней.

Неравноправная парочка взметнулась над черемушником и ушла от реки, на лесные озера. Жалко, что будущая мать не успела как следует поесть.

## КОГДА В ТОВАРИЩАХ СОГЛАСЬЯ НЕТ

Мы снова обрабатываем плесо «квадратно-гнездовым» способом, как выразился мой напарник. У Виктора Семеновича поклевка. Я рад за него. Не давая опомниться ни себе, ни рыбине, он быстро вращает катушку и забрасывает в лодку щучонку со скорбно сжатыми челюстями.

— Ну, сегодня, кажется, моя планида! — улыбается Виктор Семенович, глядя на меня.

Пошлепывая носом, лодка мчится по перекату. Виктору Семеновичу не сидится. Он даже на перекате делает забросы. Вдохновился человек. Стремительный поток ударяется в подмытый берег. Здесь много деревьев с корнями и без корней,

стоящих торчком и притиснутых к обрыву. Кружится вспененная и замусоренная вода. Большая яма. Здесь обязательно должна стоять крупная рыба. Стараемся подбрасывать блесны под самый хлам.

— Есть! — не вопит, а сквозь стиснутые зубы сообщает товарищ, и я лишний раз убеждаюсь в том, что значит быть начальником и обладать выдержкой. В такой момент лично я гаркнул бы так, что в ушах зазвенело. А он молчком борется с рыбой, только сопит.

— Подводи, подводи, — советую я, желая во что бы то ни стало взглянуть на то чудо, которое согнуло удилище и с которым не может совладать даже бывалый командир-моряк, мой напарник.

Наконец он выводит рыбину из ямы, и она, описав круг возле лодки, выходит к её носу. Я вижу щуку, недоумевающую, сытую, злую и сильную. В углу ее пасти, как сигарка, торчит длинная блесна. Щука огромная. Я робко, с дрожью в голосе спрашиваю:

— Что будем делать?

Виктор Семенович медленно подводит щуку к борту лодки и велит мне вооружиться подсачеком. «Зачем подсачек? — мелькает у меня недоуменная мысль. — Для такой щуки подсачек не годится». Но я не успеваю возразить, потому что напарник мой сам увидел щуку — и куда делась его выдержка, которой я дивился несколько минут назад! Лихорадочный блеск глаз, дрожь в руках и какие-то отрывистые, хриплые звуки вместо четкой, вразумительной команды: — «Чего стоишь?! Бери! Хватай! Не зевай!»

И я изо всех сил старался не зевать. Схватил подсачек, надел его на щуку, как намордник на собаку.

Щука возмутилась — на ее морду надели подсачек, годный для зяят и окунишек! Ее недооценивают! С ней не считаются! Ее хотят посрамить!

Она забушевала. Она резко изогнулась, выбросилась наверх, рванулась, разодрав нитки подсачека, и встала на мели, отлично видная, близкая, но уже без блесны во рту.

Виктор Семенович, как собачонке, подбросил ей блесну; щука пошевелила хвостом и отошла в сторону, ближе к глубине. Он еще раз подбросил, и она еще отошла! Затем ей надоела вся эта волынка и она медленно, с чувством собственного достоинства направилась в темную яму. И все это на глазах потрясенных рыбаков! Все это рядом с лодкой!

— Салага! — рывкнул Виктор Семенович. — Ты что сделал?

— Я?

— Да, ты! Отпустил щуку! Шу-ку, понимаешь?

— Я? Отпустил?

— Именно ты, растяпа! Зачем ты взялся за подсачек? Ты что, малявок сюда приехал ловить? Как твоя башка устроена?

Откровенно говоря, я никогда не задумывался над тем, как устроена моя голова. Голова как голова, круглая, с двумя макушками, и бабушка-покойница, глядя на них, на эти макушки, заверяла меня, что я буду счастливецом. Если судить о счастье применительно к рыбалке, то вроде бы пророчества бабушкины сбывались. А вот у Виктора Семеновича, стало быть, нет двух макушек и поэтому я должен молчать. Пусть человек отведет душу. Нас всего двое и виноватым, кроме меня, быть некому.

Я молчу, а он бушует до тех пор, пока не догадывается взглянуть на блесну. И тут грозный тон покидает его. Щука обломала один крючок тройника.

— Вот зверина! — удивленно бормочет Виктор Семенович и в голосе его слышны виноватые нотки.

Я перевожу дух, но преждевременно, ибо товарищ мой еще не полностью «разрядился».

— Это ты помог своим подсачеком обломить крючок. Кованый крючок! На нем корову можно тащить, а ты...

Но вдруг Виктор Семенович, видимо, вспомнил, что несчастный этот подсачек не мой, а его, и что я не советовал брать его, а просил прихватить железный багорик. Виктор Семенович схватил подсачек, со всего маху швырнул его в воду и гаркнул:

— Жри!

Впоследствии выяснилось, что обращение это было предназначено не мне, а щуке.

В угрюмом молчании плывем мы ниже и ниже по протоке Солоной. Я вытаскиваю небольшую, но боевую щуку. Виктор Семенович смотрит на меня с откровенной неприязнью. Про себя я проклиная глупую рыбу, которая не догадалась ухватиться за блесну моего товарища. Стараюсь делать меньше забросов, управляю лодкой.

И вот, наконец, поклевка на его спиннинг. Виктор Семенович быстро ведет к лодке юркого шуренка, но тот ухватил блесну не за крючок, а за корпус, и у лодки с сожалением выпускает ее из рта.

Издавательство? Да еще какое! Виктор Семенович свирепо запускает блесну вслед шуренку — и тот снова берется,

но на этот раз уже за грузило. Виктор Семенович произносит со скорбью:

— Ну, этот технику безопасности знает назубок.

Я захотел, а Виктор Семенович улыбнулся и покаянно сказал:

— Ну, ты, это... не обижайся. Погорячился я...

— Да, чего там.

И между нами снова установилось согласие, без которого, как известно, жить невозможно.

## СКАЗ, ПОВЕДАННЫЙ РУЧЕЙКОМ

В этот день мы больше ничего не поймали. Начался ветер, понес тучи, которых за горами скопилось множество. И солнце, еще не успевшее высушить обильную росу, мелькнув раз-другой, скрылось за лохматыми, многослойными глыбами. На дальних болотах закричал журавль, сожалея об исчезнувшем солнце, вещая непогоду.

Мы принялись искать удобное место для стоянки, но ничего подходящего пока не было. Неожиданно на взлобке, поросшем травой, мы увидели деревянный крест. Рядом с ним бушевал и пенился желтоватый ручеек. Желтоватым он был оттого, что вытекал из ржавых болот. Мы причалили и подошли к кресту. Это была могила. Бугорок по соседству с ней, сплошь покрытый желтыми цветами, свидетельствовал о том, что здесь когда-то стояла избушка. Мы присели возле креста и задумались. Кто здесь похоронен? И почему здесь? Ведь деревня совсем недалеко и там есть кладбище.

Глухо шумели березы и ольхи, которые родственно сомкнули ветви над могилой, а рядом картаненько наговаривал ручеек, словно хотел поведать нам простую, немного таинственную историю. История эта во многом подтвердилась колхозниками, которых мы расспросили о безымянной могиле.

Жил-был человек. Сильнее всего на свете любил он Урал с его лесами, горами, реками и речушками. И когда кончились партизанские походы, сменил этот человек боевую винтовку на охотничье ружье и поселился жить на берегу диковатой, но богатой и уютной протоки Солоной. Срубил он себе избушку рядом с ручейком и по утрам умывал лицо студеной, пахивающей болотным торфом, водой. Вместе с ним жила в избушке его верная и вечная подруга. Принесла ему подруга

троих сыновей. Выросли эти ребята крепкие, здоровые и не боялись ни лешего, ни медведя, ни темной ночи. Они умели косить, пахать, рыбачить и стрелять.

Когда грянула война, братья ушли на фронт. Метко стреляли там врагов, ловко пробирались по лесам в тыл врага и так «нежно» брали «языка», что он и пикнуть не успевал.

Долго бродила похоронная на первого сына, пока добралась до лесной избушки. Так долго, что пока дошла до стариков первая, в дороге уже находились еще две. А когда все три похоронные пришли в избушку, слегла старая мать и больше не поднялась. Старик сам сколотил ей домовину и уплавил в лодке в деревушку. Там, после похорон, помянул ее старик в кругу кумовей, крестников и друзей. А друзьями у него были все жители деревни. За свою долгую жизнь старик каждому деревенскому жителю оказал какую-нибудь добрую услугу: давал рыбы, мяса, помогал в страду на пашнях и на покосах.

В те тяжкие дни войны он все рыбачил, рыбачил и каждую рыбку сдавал в колхоз. Люди не знали, когда спал старик. Стали упрашивать старика переселиться в деревню: одиноко, мол, тебе будет в избушке, но он отвечал, что «сросся душой с природой-матушкой».

Шло время. Суше, медлительней делался старик. Годы согнули его. Стали слезиться глаза, не знавшие очков, облысела голова, похрустывали одеревяневшие суставы от застарелого ревматизма. По утрам старик медленно выходил из избушки, слушал издавна привычный напев ручья, щебет птиц и шорох листвы над головой.

Колхозники стали все чаще и чаще навещать к старику под разными предлогами. И однажды нашли его мертвым.

На старом деревянном столе лежала квитанция, где было отмечено несколько пудов рыбы, сданной недавно в колхозную кладовую. А на оборотной стороне квитанции корявыми, печатными буквами написано несколько слов. Это была последняя просьба старика — похоронить его рядом с избушкой.

Не хотел и не мог старик расстаться с природой. Она вошла в его душу навечно. Без нее не мыслил он себя.

И вот лежал старик под зеленым холмиком, над которым распускалась и опадала листва, рождались птицы и приветствовали утро своими тонкими голосами.

Неугомонный ручеек рассказывал всем простую историю о человеке, для которого природа была матерью, домом, бо-

гом. Ручеек замолкал только зимой, а с весны и до осени говорил, не спрашивая о том — слушают его или нет.

Его слушали...

## ЛЕТНЯЯ ГРОЗА

Мы так заслушались, что не заметили дождя, мелкими шажками подкравшегося к нам из-за леса. Он густел, расходился и вскоре на протоке сделалось тесно от пузырьков, которые, не успев народиться, лопались и расходились кружками. Дождь был так густ, что ветер не мог пробраться сквозь него и сконфуженно залег в лесу.

Мы заторопились к лодке и по узкому выходу, пересекающему остров, выплыли на реку, где я поймал вчера первую крупную рыбу. Здесь сохранился островок частого хвойного леса, окруженного со всех сторон покосами. Мы схватили рюкзаки и бросились к пихтам. Под ними лежала рыжая сухая хвоя. Дождь сюда не проникал. Но мы уже вымокли и продрогли. Не хотелось шевелиться. Однако надо было разводить костер. И с великим трудом мы его развели.

А дождь прибавлял прыти. Огромная черная туча наполнила на реку, и в одну минуту потемнело, как вечером. Затем дождь разом прекратился. И тут же порывы ветра понеслись по реке, морща и волнуя воду. Сверкнула нервная молния, прогрехотал гром, и ветер опять сник.

Стало тихо.

Только крупные капли, скатываясь с мокрых смолистых ветвей пихт, звучно шлепались о широкие, сморщенные листья чемерицы, уже пустившей по четвертому побегу, да с той стороны доносилось тревожное бляение коз, пасшихся в лесу.

Молнии зачастили. Они прошивали насквозь темную тучу яркими иглами и втыкались в вершины гор, то отчетливо видных, то исчезающих во мраке. Гром грохотал почти беспрерывно.

Мы ждали бешеного ливня.

Но удивительное дело: грозная туча спустила на землю тихий, грибной дождь, а сама, громохая, в отблесках молний, поплыла дальше, волоча за собой пушистый раздвоенный хвост. Этот хвост чисто смел все на своем пути. Снова появилось голубое небо с умытым и довольным ликом солнца.



И разом ожило все вокруг: запели птицы, затрещали кузнечики, мимо нас пробежала шустрая мышка. Мы сбросили задубевшие плащи. Туча была уже далеко. Она уползала за перевалы и все еще метала яркие стрелы, но звуки грома до нас уже не доносились.

Мы стали собирать дрова и готовиться к ночлегу.

## РЫБА РЫБЕ — РОЗНЬ...

Ночью дул холодный ветер. Говорят, что северный ветер со снежком приходит на черемуховый цвет, но на этот раз ветер спохватился поздно: черемуха уже отцвела. Только кое-где, в гуще леса, на нижних ветвях черемух еще можно было отыскать хиленькие, полуосыпавшиеся кисточки.

Я открыл глаза и пожегся. Глухо шумели в вышине вершины разлапистых пихт. У костра сидел Виктор Семенович и подбрасывал дрова. На плечи его была накинута телогрейка. А всю остальную одежду — плащ, меховую жилетку и даже мешок, предназначенный под рыбу, он бросил на меня. И костер он подживлял для того, чтобы мне было тепло. Он не забыл, что я поехал сюда после тяжелой болезни. Мне стало хорошо и тепло. Незаметно для себя я уснул, а когда проснулся — товарищ сидел у костра уже в одном свитере. Телогрейка его тоже была накинута на меня. Я подвинулся к костру, сказал:

— Давай ложись. Я буду дневалить.

Виктор Семенович хотел возразить, но я настойчиво повторил:

— Давай, давай, без сна нельзя.

Он залез под пихту, выставив длинные ноги в латаных шерстяных носках к огню.

Утро было ветреное. Рассвет пришел незаметно и нерасторопно. Я сходил к ручью, возле которого поймал первую щуку, сделал несколько забросов, но никто не брал, и я принялся настраивать удочку. Удилище вырезал здесь же, жидкое, ивовое.

Не успел я закинуть удочку в устье ручья, где было загибье и воду рябило лишь слегка, как поплавок встал торчком и пошел вглубь. Так клюет окунь. Я потянул удочку, но окунь, опережая меня, ринулся к берегу и здесь, оторвав половину червя, ушел. Закинул удочку еще раз — та же история.

Таких диких, проворных и хитрых окуней, как на Яйве, мне еще не приходилось удить. Я закидывал удочку, скармливал червей, злился — и не мог добыть ни одного окуня.

Наконец догадался: надо действовать по-другому. Леса у меня была длинная, и я просто не успевал выдернуть окунишку на берег, потому что клевал он очень дерзко, но за крючок брался осторожно и, устремившись к берегу, успевал ослабить лесу и сняться преспокойно с крючка. Убавить лесу я не мог, потому что вода была большая и зашла на край покоса, а следовало делать забросы за обрывистый затопленный берег, возле которого и стояли окуни.

Я решил на нахальство ответить нахальством. Когда окунь, забрав крючок, устремился в глубину, я с удочкой побежал от воды и, не дав опомниться хитрому горбачу, выдернул его на берег. И пошло, пошло... Некоторые окуни срывались с крючка. Приходилось хватать их руками или падать на них животом. Таким образом я моментально выудил штук десять окуней. Разогрелся, вошел в азарт — и про спиннинг забыл.

Пришел мой напарник на берег, увидел, как я бегаю от воды с удочкой, падаю, не щадя живота, расхохотался и спросил:

— Ты чего, акробатикой занялся?

— А тут, брат, без акробатики ни одного окуня не добудешь, — ответил я и на его глазах упустил подряд несколько окуней, не успев подсечь их.

Товарищ не поверил, взял у меня удочку, и скоро я уже слышал, как он громко ругал окуней, которые, по его словам, были настоящими «профессорами». И хотя он отличный удильщик, но ни одного окуня так и не поймал, потому что бегать по берегу и падать на окунишек считал ниже своего достоинства.

Виктор Семенович велел мне варить уху из этих красноперых «профессоров», а сам поплыл в лодке на другую сторону реки.

### **...А РЫБАК РЫБАКУ — РОДНЯ**

Ветер стал постепенно утихать, и мы решили снова выплыть на Солоную. Узенький ход, по которому мы пробирались на лодке в прошлый раз, уже совсем затянуло водорос-

лями. Сюда, где спасались тучи рыбьей мелкоты, слетелось множество птицы. То и дело из-под кустов вылетали юркие чирки; раскрыв белую опушку хвостика, скользили над водой кулички. Взбугрив воду, уходили в траву щуки и крупные окуни. Рыбачить спиннингом здесь мешала трава.

На Солоной, неподалеку от креста, сидел в лодке рыбак. Мы подплыли к нему, разговорились. Рыбак оказался со станции Яйва. Приехал сюда на выходной. Он без всякой утайки сказал нам, что рыбачить нужно ниже креста — это самое рыбное место: старик-покойник знал, где нужно поселиться. А мы-то как раз ниже креста и не пробовали сделать ни одного заброса.

Когда мы рассказали рыбаку о том, как удим окуней, он рассмеялся и заметил:

— Это еще хорошо, хоть десяток поймали. Голоден окунь после дождя, а то бы он на червя не взял.

Рыбак поведал нам, что на Яйве рыба имеет свои особенности. Здесь живет много хищной рыбы: щуки, таймени, окуни и даже язи крупные охотничают! Эти многочисленные охотники начисто съели пескарей, преследуют хариуса и сорожняк. Хариус сейчас живет главным образом в верховьях Яйвы, где щуки и окуня почти нет. Но там есть другие враги хариуса — крохали и таймени. Они съедают множество мелких хариусов, зато крупный хариус, вес которого порой достигает двух и трех килограммов, чувствует себя в светлых водах верхней Яйвы вольготно. Здесь же окунь и щука должны обладать исключительной ловкостью, чтобы добыть себе пропитание. Никакого родства хищники не признают: щуки, что покрупней, глотают мелких, окуни преследуют друг друга, а ловятся они лучше всего на гольяна — мелкую рыбешку.

Рыбак показал нам этих самых гольянов, научил, как нужно на них ловить. Удочка с длинной лесой у него была без грузила и поплавка. Он прицеплял гольяна за верхнюю губу, бросал его за борт лодки и медленно опускал лесу вниз по течению. Когда леса вытягивалась во всю длину, рыбак поддегивал гольяна к лодке и снова отпускал его вниз. Впрочем, делать по два заброса ему почти не приходилось. Окунь брали у самой лодки. Наловил он их уже килограммов десять. Среди окуней лежала пара довольно крупных шук, которые тоже взялись на гольяна.

— И вы рыбачили бы на гольянов, — посоветовал нам рыбак, — а то этими штуками, — указал он на спиннинги, — только рыбу распугаете...

Мы не стали его разубеждать, отплыли немного — и на первом же забросе у Виктора Семеновича взяла блесну крупная щука. Мы снова начали суетиться, но рыбак дал нам спокойный совет:

— Подведите к лодке и возьмите щуку за глаза!

Так мы и сделали. Виктор Семенович подвел к лодке упорную щуку, я схватил ее пальцами за глаза — и она сразу перестала сопротивляться, только хвост судорожно изогнула.

— Вот так и делайте! — крикнул рыбак. — Ни одна не уйдет!

Мы проплыли от креста до устья протоки и поймали двенадцать щук. Когда поднялись на шесте к тому месту, где сидел рыбак, он страшно изумился:

— Ну-ка, ну-ка, дайте посмотреть ваши удочки. Я думал, это забава, а тут, оказывается, хитрейшая техника.

Он долго рассматривал спиннинги, расспросил нас, как можно приобрести такую «технику», и заявил, что из первой же полочки выкроит денег.

Потом он поплыл вслед за нами и смотрел, как мы рыбачим.

— В яме, в яме попробуйте! — подсказал рыбак. — Ох там щуки и крупные, страсть!

Яма была метрах в ста. Здесь нужно было блесну вести в глубине, у самого дна, где обычно стоит крупная рыба. Очень осторожно вести, чтобы не задеть крючком за дно.

И вот она, далекая, сильная поклевка. Взяла крупная рыба. Взяла уверенно, сильно, без суматохи. Ходит она кругами, подтаскивая нашу лодку то к одному, то к другому берегу протоки.

Дурной азарт уже давно прошел. Я борюсь с рыбиной спокойно, отдаю ей шнур, когда она рвется, и в то же время торможу рукой катушку. Ладонь горит, но противник слабеет. Метр за метром отдает мне шнур. Рывки делаются резкими, но очень короткими. Наконец здоровенная рыбища выходит наверх, лежа на боку.

Умаялась.

Еще несколько рывков, еще несколько отчаянных попыток порвать шнур, выкинуть блесну — и вот она, щучина, в лодке, мордастая, суровая, величиной с куренное полено. Товарищ лихорадочно гребет к берегу и кричит мне:

— Становись! В позу становись! Сфотографирую. Такой трофей!

Я становлюсь в позу, счастливый и усталый. Виктор Семенович щелкает фотоаппаратом и подает мне его:

— Давай теперь ты меня сфотографируй. Я уж с такой кислой рожей, как ты, не буду стоять перед объективом!

Я, к сожалению, сроду не держал фотоаппарата в руках, но признаться в этом не решаюсь и нажимаю на какое-то колесико. Аппарат щелкает. Довольнехонький, мой напарник предлагает пообедать.

Фотография со щукой до сих пор висит у меня на стене, а Виктор Семенович не получился. Мутное пятно вышло вместо него. И когда я заявил: «Бог кривду видит!», намекая на то, что он хотел не со своей щукой сфотографироваться, друг мой чуть меня не избил.

## ДО СВИДАНИЯ, ЯЙВА!

Ну, вот, пожалуй, и все. Остается только добавить, что в тот день мы добыли очень много рыбы. Можно бы наловить и еще больше — жор у щук был редкостный, — да нам непосильно было бы нести рыбу от реки до станции. Не случилось в моей рыбацкой жизни такой удачной поездки и такого превосходного клева.

Дело доходило прямо до чудес.

Мы оба разом подводили к лодке увесистых рыб, захлебывались смехом, измученные, счастливые, взвинченные до предела.

Потом уж решили мы выпотрошить рыбу, чтобы нести легче было. Я перемыл выпотрошенных рыб, в мешок сложил и говорю, обращаясь к реке:

— Ну, кто еще там на очереди, давай уж заодно, чтобы мешок не развязывать!

Закинул блесну и не успел сделать оборот катушки — поклевка!

Увидевши это, Виктор Семенович схватил спиннинг и закричал:

— И моя где-то здесь стоит!

Закинул и сразу вытащил здоровенную щуку.

И двинулась наша лодка вниз, к Яйвинскому поселку. А вдаль, за синими горами, оставалась добрая и благодатная верхняя Яйва, которая берет свое начало на южных склонах хребта Кваркуш.

Где-то там, в верховьях этой реки, идет знаменитый Верхотурский тракт, который, как выразился один здешний житель, еще в далекую войну строил пленный «турка». Где-то среди Уральских гор, у истока этой чудесной реки, говорят, есть теплые озера, не замерзающие даже зимой. Где-то там, далеко-далеко есть еще не открытые нами уголки, нехоженые дороги, которые никогда не перестанут манить любознательного бродягу рыбака.

---



## ДВЕНАДЦАТЬ ПАТРОНОВ И НИ ОДНОЙ ГАГАРЫ

**Ж**ивет за полярным кругом птица — гагара. По виду она напоминает утку, но только голова у нее узенькая, туловище клином, а лапы возле самого хвоста. Ходит по суше гагара совсем плохо и потому гнездо делает возле самой воды, чтобы в случае опасности сразу же нырнуть.

До войны наша семья жила недалеко от Игарки, на берегу Енисея. Дед мой и отец заготавливали дрова для пароходов (тогда в топках некоторых пароходов сжигали дрова).

## НА ОХОТЕ ВСЯКОЕ БЫВАЕТ

И вот неподалеку от нашей избушки поселились на озере две гагары. Жили там утки, но никакого беспокойства нам не причиняли. А эти — ну просто извели. На озере сидят — стоят жалобно, будто где лесинной ребенка придавило; летят — крикают так, словно ржавой пилой крепкий сук пилят. Дед мой был человек беспокойный, спал вообще плохо, а тут еще гагары стали его донимать. Вовсе дед сна лишился. Ругается.

Я говорю:

— Застрели, дедушка, гагар.

Он на меня глянул одним своим глазом и усмехнулся:

— Больно прыткий. Попробуй сам застрели, а я, брат, не берусь за это дело.

Ну, думаю, если ты не берешься, так я возьмусь. Снял со стены патронташ, ружье прихватил и подался на озеро.

Утки, какие были на озере, поднялись и улетели, а гагары плавают себе и внимания на меня не обращают. Подождал я, когда они сплывутся вместе, трахнул из ружья — гагар как не бывало. Только круги по озеру расплылись. Стало быть, поторопился, промазал.

Жду.

Раз! Одна гагара вынырнула, под самым моим носом. Бух я ее вторично. Нет гагары, исчезла. Гляжу, другая гагара на воде появилась — самец.

Стукнул я по нему, но тоже не тут-то было.

Зло меня взяло. Так близко плавают птицы, и я попасть не могу! Раньше стрелял уток запросто, а тут промахиваюсь. Сейчас-то, думаю, не буду торопиться, прицелюсь как следует.

Только гагары тоже не дуры. Высунут голову из воды, вдохнут воздух и — кувырк, опять исчезают. А я по ним палю, я палю. Гляжу — на воде перья плавают, а птицы ныряют себе.

Было у меня двенадцать патронов — все выстрелил. Если бы еще двенадцать было — я бы и те сжег, в такой азарт вошел.

Прибрел я домой растерянный, ружье бросил. Дед за патроны меня побранил крепко, а потом успокоился и сказал:

— Дурья башка! Не берет ведь гагару дробь-то.

— Как не берет?

— У нее очень плотное перо и кожа такая, что дробь не просекает. Нужно попасть в голову. А головка-то у нее — видел какая? Меньше бутылочной пробки. Из малопульки надо бить эту птицу. Малопульки же у нас с тобой нет. Да и добудешь гагару, так ни к чему. Надо ее варить три дня в



русской печке, а потом собакам выбросить. Мясо-то у нее гольной рыбой пахнет. Правда, шкурка у нее ценная...

И тут дед рассказал мне, что гагару отеребить невозможно. Ее обдирают, как белку. Потом шкурки гагары выделывают и шьют из них чулки. Говорят, самые теплые и прочные чулки из гагарьих шкурок получаются...

## ПОСЛЕДНЯЯ ПЕСНЯ

Избушка наша стояла у самого леса. В обрывистый берег мы вкопали баню. Над баней огромная листвень и к ней березка притулилась. Мы не трогали эти деревья. Они наподобие маяка для пароходов были.

И вот однажды, в конце августа, выхожу я из избушки. Бело кругом от инея. Лес оцепенел, притих. В Заполярье осень ведь рано начинается. Слышу: тэк-тэк-тэк, тэк-тэк.

Глухарь токует. Робко, правда, по-осеннему, но токует. Глянул — на листвени, над баней, ходит по суку, распутив крылья, здоровенный бородатый глухарь. Я в избушку, за ружьем. Дед ружье у меня отобрал.

— Что за корысть — старика ухлопать? Птицы мало тебе, что ли?

Птицы в Заполярье, особенно в эту пору, много и, конечно, дед был прав. Зачем старого глухаря губить? Мясо у него жесткое, как дерево.

И вот каждое утро, на заре, к бане выходил из лесу старый песельник. Он не прилетал, а именно приходил и вспархивал на нижний сук листвени. Посидит, посидит, осмотрится и словно бы ненароком уронит: тэк. Послушает, как получится, и повторит: тэк-тэк-тэк. А потом разойдется, разойдется. Глядит на зарю и напевает. Крылья раскинет, перья у него на зобу дыбом поднимутся — топчется, хорохорится.

Может быть, чувствовал старик, что до весны не дотянет, вот и спешил сыграть свою немудреную песню.

Однажды к нам из города приехали ягодники и охотники. Ночевали они в бане. Рано утром выстрел прокатился по лесу, расколос тишину. Подбежал я к окну, вижу: с листвени медленно падает наш певец. Упал, забился. Дед из избушки выскочил, поднял за крыло глухаря и сказал с глубокой печалью:

— Эх, дураки. Последнюю песню убили...

## КАК ЧИРОК ОХОТНИКА ИСКУПАЛ

Далеко из города на охоту ходить.

Поднялся я чуть свет и отмахал двенадцать километров, прежде чем до озер добрался. Ну, думаю, теперь-то поохочу.

Впереди меня — длинное узенькое озерцо. Надо как-то перебраться через него. Вижу, поперек озера береза лежит. Ветром ее выворотило вместе с корнем. Ненадежная, конечно, переправа, но другой нет. Пошел я по березке.

Иду осторожно. Ружье в руке бережно несу. И вот, когда добрался до середины озерца, из-под березы выскочил чирок и побежал по воде, хлопая крыльями. Я с переполоха ружье вскинул, стрелять хотел, да равновесие потерял и бултых в воду.

Кое-как до берега добрался. Озеро-то узенькое, но глубина в нем страшная и всего меня водорослями опутало. Вылез на берег и от расстройства чувств чуть не заревел: из патронов вода льется, папиросы размокли.

А какой же я охотник без патронов и без курева! Вылил воду из сапог и домой побрел. Все двенадцать километров ругал я этого чирка. Нехорошо он подшутил над охотником.

## ЗА ДВА ДЕЛА НЕ БЕРИСЬ

Не раз мне говорили: не берись за два дела сразу. Но я как-то не придавал значения подобным наставлениям. И что из этого получилось — судите сами.

Был я на охоте, жил в избушке лесника и заметил, что на небольшое озеро, расположенное среди болот, каждый вечер утки на кормежку слетаются. Решил я сходить к озеру и уток подкараулить. Пришел задолго до сумерек, замаскировался и сижу. Полчаса сижу, час. Скучно. Надоело. Дай, думаю, хоть хлеба пожую, проголодался что-то. Утки обычно на кормежку прилетают, когда вечерняя заря почти отцветет, а сейчас еще все небо полыхает.

Снял я рюкзак, отхватил ножом большую горбушку и только жевать начал, слышу над головой: шш-шш-ш-шшж-шшж, и впереди меня — хоть рукой доставай — табун кряковых уток упал.

У меня ружье на коленях и в одной руке хлеб. Мне бы этот хлеб бросить, да подождать, когда утки расплывутся, успокоятся. Но я торопливо начал ружье в кусты просовывать. Только предохранитель снял — трах — выстрел. Оказывается, придерживая хлеб, я случайно и спуски надавил. Снялись утки, улетели. Я со зла горбушку в воду бросил.

И понял я тогда, что не следует сразу два дела исполнять, лучше уж одно, да как следует.

## ЮРКИЙ РЯБЧИК

Приходилось ли вам слышать песенку рябчика?

Коли не приходилось, обязательно сходите в лес весной или осенью и послушайте. Голос у рябчика очень залиvistый, а трели такие, что не всякий охотник даже пищиком сможет их повторить.

Но если научиться свистеть, как рябчик, можно хорошо поохотиться. Птица эта отзывается на голос рябчинный и быстро прилетает туда, куда ее зовут.

Сию я однажды возле лесной просеки, выделяваю рябчинные трели пищиком. Неподдалеку от меня откликается сипловато рябчиха. А по ту сторону просеки звенит-заливается петушок. Требуется, чтобы к нему летели. Но вот не выдержал он, фуркнул крыльями и полетел, ловко планируя между деревьев. Опустился рядом со мной, сердитый такой, со взъерошенным хохолком на голове. Сел он так близко, что я стрелять не решился — разобью впрах птицу. Пусть, думаю, отбежит, тогда выстрелю. Постоял, постоял петушок, прислушался и засеменял.

Я стрелять приготовился, только и жду, когда он подальше отбежит. А рябчик раз-раз за пенек, затем под валежину, прошелестел осенними листьями и был таков.

Я плюнул от досады. А потом успокоился и со смехом проговорил:

— Ну, значит, жить тебе, ловкий рябчик-свистунок!

---



**Б**ыл у нас щенок — Грозный.

Знающие люди уверяли, что получится из него толковый охотник — у него мол, шишки отличительные на голове и лай выразительный: обрывистый, басовитый.

Однажды пошел я с ребятами за грибами и решил взять с собой Грозного, чтобы проверить — куда он годен. Сначала дочка моя наповоде его вела, а на окраине города, возле железнодорожного моста, отпустила.

Грозный возликовал, по траве покатался, из канавы воды полакал и ринулся вперед, задиристо подняв тонкий, еще не опушившийся хвост.



## **ЩЕНОК СО ЗНАМЕНИТЫМИ ШИШКАМИ**

Возле моста изба и у крылечка куры. Ворвался Грозный в стаю кур и разметал их. Заорали хохлатки, крыльями хлопала и в панике под крыльцо забились. Грозный и тут их настиг, выгнал из-под крыльца. Изловчился он и одну курицу за хвост поймал — едва мы ее отняли у щенка.

Дочка схватила Грозного в беремя и бежать — что, как хозяева увидят, какой разбой Грозный учинил!

Но все обошлось. Дошли мы до леса и начали грибы собирать. Грозный по лесу заметался, затыкал. Ни птички, ни бабочки не пропускал — за всеми бегал, задрал голову.

До того он у нас набегался и запалился, что к обеду у него ноги стали заплетаться и язык длинный повис. Сели мы на берегу реки Вильвы обедать, хлеба Грозному дали, но он даже не понюхал его, уснул.

Шли по берегу два охотника, остановились возле нашего огонька — покурить.

Один из охотников, с усмешкой глядя на повергнутого сном щенка, который положил морду на лапы и даже чуть похрапывал, сказал:

— Натешился охотник.

— Еще бы не натешиться! Всю дорогу промышлял, еще в городе начал...

— А в городе-то за кем же? — поинтересовался рыжебородый охотник в кожаной шапке.

— Кур шерстил.

— Ну-у! — удивился охотник и захохотал. — Ха-ха-ха, м-молодец! Ай молодец! Будет из него толк, раз уж он сейчас хвосты у кур рвет. А где он их встретил-то?

Я с подробностями начал рассказывать о лихом набеге Грозного. Вдруг заметил, что лицо у рыжебородого делается все скучней и скучней.

— Изба у моста?

— У моста.

— Мазаная?

— Мазаная.

— С кривой трубой?

— Труба не помню какая.

— А крыльцо? Крыльцо зеленое, с навесом?

— Зеленое. С навесом.

— Братцы! — крикнул охотник. — Это ж моих кур он пластал! Все приметы налицо... Дома никого нет!

Плюнул я и чуть не взвыл от досады: ну кто меня за язык тянул, кто?

Охотники больше не называли Грозного молодцом и вскоре ушли.

Между прочим, доброй собаки из Грозного так и не получилось. Вырос он глупым псом и пустолаем, только кур у соседей ловко крал.

Сколько я принял из-за него бед, сколько нервов потратил и штрафов заплатил — не перечить. Вот и верь людям, которые нащупывают на собачьих головах какие-то знаменитые шишки и обещают невесть чего.

Знаю я эти шишки!

---



**Ш**ли по лесу молодой и старый охотник, точнее — дядя и племянник. Дядя — звали его Василий Васильевич — всю жизнь в лесу. Он работает на сплаве древесины и попутно занимается рыбалкой и охотой.

Племянник приехал к нему в гости из города. Человек он страшно говорливый, всему удивляется, всем восхищается и норовит обязательно выстрелить в кого-нибудь. Это всегда так: попало ружье в руки горожанина, да еще такого, который на охоте не бывал, — ну, берегись, малые птахи, берегись, сороки, галки и

## НАКЛЕШКИ

вороны — идет погубитель. Дичи-то ему не добыть, а тех птиц и зверюшек, что сами на мушку садятся, такой охотник очень любит подшибать. Да еще сфотографируется с дятлом или галкой, держа ее двумя пальцами и улыбаясь, — это на потеху родным деткам: вот, мол, какой ваш папа герой, вот какой меткий стрелок...

Надо сказать, что охоту пока разрешили только на водоплавающую дичь, а на боровую охота открывается обычно в сентябре.

Ходили, ходили дядя с племянником — нет уток, даже в глаза ни одной не видели. Скис племянник, едва плетется. Он-то думал, что будет палить без устали и набьет птицы мешок под завязку, и на тебе — даже ни разу не выстрелил.

Свернули они в лог, вышли на покос, среди которого стоял подбоченившись этакий пухлый, пышный, похожий на кулич, стожок сена. Стожок был приметан к старой, наполовину засохшей рябине. И на рябине...

— Что это? — сразу пересохшим голосом спросил племянник.

— Рябчики, — ответил Василий Васильевич и на полянку шагнул. Фыркнули крыльями рябчики и — врассыпную.

Племянник за ними. Василий Васильевич поймал его за руку:

— Куда? Не видишь что ли, рябчики еще малы, бесхвостые вовсе. Вот подрастут, тогда и стреляй...

— Одного, дядя Вася, на пробу.

— Говорю — нельзя!

— Одного, дядь Вась... Никто не узнает.

— Тьфу ты, азартный какой! — ругнулся дядя Вася и хитро сощурился:

— Ну, ежели одного, на пробу. А не пожалеешь?

— Да что вы? — сглотнул от нетерпения слюну племянник, а сам уже курок взвел и глазами зыркает по лесинам, но рябчиков увидеть не может. Малы еще рябчики, а маскироваться уже умеют, куда с добром. Вот рядом, совсем рядом чирикают, на голос матери откликаются и не показываются.

— Ну, как? — подошел ближе к племяннику дядя.

— Не могу заметить. Мне бы только на миг... Я бы... — зашептал племянник.

Дядя покосился на племянника и усмехнулся. Аж побледнел от напряжения паренек, а глаза алчные, огнем горят. «Ну, этого надо сразу отучать от лесного блуда, иначе лихой



браконьер-хапуга из него получится», — подумал Василий Васильевич и показал племяннику на пихту:

— Гляди, во-он подле пихты липка?

— Вижу.

— Одна ветка липы поздоровалась с пихтовой лапкой и на ней...

— Ах! Как же это я раньше-то не заметил? Сейчас, сейчас, — целится племянник в серенький комочек, чуть видимый сквозь пихтовую хвою, а руки у него дрожат.

— Лучше целься, не промажь, — сказал Василий Васильевич и в голосе его смех послышался, но не обратил на это внимания племянник. Он еще плотнее прижал ружье к плечу и — ба-бах! Племянник побежал к пихте, а Василий Васильевич в лог, к воде.

Спустя минуту увидел: мчится по косогору его племянничек, ружье бросил, орет благим голосом, а за ним столбится и гудит осиный рой.

— В воду! — командовал Василий Васильевич, — руками не маши! В воду!

Взвизгнул племянник и бултыхнулся лицом в ручеек, который лениво сочился по логу. А когда приподнялся — Василий Васильевич упал на траву, сраженный смехом. Племянника не узнать. Все лицо его в огромных волдырях, один глаз вовсе заплыл, не смотрит, верхнюю губу на сторону унесло и стала она с чернильницу-непроливашку величиной.

— Ха-ха-ха! Наклепали тебе рябчики морду-то, наклепали!

— Болит ужасно, — чуть не плача сказал племянник и поник головой. Он уже понял, что Василий Васильевич нарочно втравил его в эту историю — осиное гнездо вместо рябика показал. И обижаться нельзя — не жадничай, не подличай в лесу.

— Ну что ж, дальше пойдем или как? — поинтересовался Василий Васильевич.

— За утками бы.

— А рябчиков больше не хочешь?

— Не-е, не желаю. Ну их...

«Ага, подействовали, значит, наклепки», — отметил Василий Васильевич и командовал:

— Тогда шагом арш ружье искать!

И они пошли дальше, старый охотник и молодой парень, из которого когда-нибудь, может, тоже получится охотник. Вполне возможно — больно уж учитель ему попался опытный, знает, как надо молодежь натаскивать.



**М**ы с приятелем шагали по берегу Койвы — притока Чусовой и любовались необычайной картиной. Леса еще в зелени, еще по берегам щетинится густая осока, а на прибрежных озерах не хлопнулись зеленые листья-ладошки кувшинок, еще вчера тянулась длинными нитями в воздухе паутина — и на тебе — снег!

Сквозь тихую, чуть прореженную завесь весь мир кажется сказочным, оробевшим и мелькает, мелькает заштрихованная

## **ЗЕЛЕННЫЕ ЗВЕЗДЫ**

зелень. А вон впереди, словно бы в неподвижном белом царстве, замигали огоньки. Подходим ближе и видим запламеневшую рябину. Пугливое дерево — рябинка, оно раньше других почувствовало приближение снега и поспешило окраситься в осенний цвет. С грустным шорохом опадают багровые розеточки с рябин и одиноко, печально светятся на ярком, но еще не ослепительном снегу. Холода-то настоящего еще нет и снег не серебрится.

Но вот поредел снег. Больше, больше зелени перед глазами и наконец мы видим лес, небо, хмурое небо в мохнатых тучах, меж которыми лишь кое-где видна бледная просинь. А на берегах бело и оттого река кажется темной, неприветливой. Тени скал в ней не отражаются, как летом.

Утки тронулись в путь. Летят низко над рекой, большими стаями. Садятся на голые обмыски, прячут головы под крыло.

Снег быстро тает, на глазах оголяются бугорки, с зеленых листьев берез и мягких лап пихтача падает густая, громкая капель. Весь лес заполнен шорохом, щелком и треском. Капель. Студеная, нерадостная капель.

Но что это? Перед нами огромные зеленые звезды! Такие звезды возможно увидеть только в лесу и только после ранней выпадки снега. И еще такие звезды можно увидеть в мороз, на окне, сказочные звезды папоротника, только звезды там меньше и белые они.

А здесь? Здесь они раскидистые, зеленые, пахучие.

Рос папоротник развалистым пучком. Пал на резные листья тяжелый снег, приклеил их к земле. Сделались зубчатые, огромные звезды, звезды таинственного, легендарного папоротника. Говорят: если найти цвет папоротника и взять его в руку — станешь невидимкой. Глядя на волшебные звезды, я верю этому. Я верю всему, что связано с лесом. Каких только чудес здесь не бывает!

Но трудно найти цвет папоротника, очень трудно. Еще никто и никогда его не находил.

Папоротник цветет в легендах...

Однако долго любоваться звездами нам было некогда: мы спешили к ночи добраться до охотничьей избушки. А идти по Койве трудно. Берега у нее скалистые. Река петляла. В одном месте Койва сыграла с нами злую шутку.

Мы, срываясь на обрывистых берегах, обходили большую дугу.

Впереди появилась скала. Никак ее не обойдешь. Тогда мы перебрались на другую сторону реки по перекату и взо-

шли на гребень увала. Забрались и обнаружили, что увал этот, как огромный палец, выдался в реку, и нам нужно было у начала пётли перевалить через гору каких-нибудь двести-триста метров и не делать этого изнурительного обхода почти в пять километров.

Но на Урале и не такое можно встретить. Это край чудес и надо его хорошо знать, чтобы ходить верными тропами.

---



По узеньким берегам-бечевкам Койвы стояли стога снега. Конечно, покосы эти не очень завидные, но на горах и во все сена не накосишь. Все покосы усыпаны стаями дроздов, трясогузок и других мелких птиц. Обычно сварливые, дрозды трещат, кричат, скандалят, а в ту осень они были молчаливы и на деревья не поднимались. Птицы валами уходили от нас, делая короткие перелеты. Бескормица. Страшное бедствие для птиц вообще, а для дроздов особенно, так что не всякому красота в радость. Нам звезды, а птицам горе.



**ЛЕЖА ЧЕГО  
НЕ БЬЮТ**

А в добрую, урожайную осень дрозды просыпаются вместе с зорькой и тучами перепархивают с рябины на рябину и клюют, клюют до позднего часа. Надоест рябина, можно поклевать черемухи, калины, заячника — чего душе угодно. А тут не только рябины, но и никакой другой ягоды нет. Вот и собирали дрозды на покосах семечки, осыпавшиеся с трав. А что для них семечки?!

Некоторые дрозды уже и летать не могли. С жалобным криком убегали от нас и прятали головки в кусты или между камней. Я взял одного, другого дрозда, чтобы обогреть за пазухой. Сердчишки у птиц бились часто-часто.

Чем дальше мы шли, тем больше встречали ослабевших, а потом и мертвых птичек. Тяжел перелет в голодную осень.

Хищники беспощадно уничтожали птиц. Особенно свирепствовали молодые соколы. Они били на лету дроздов и бросали, даже не взглянув на добычу, — насытились и били так, для тренировки, а может охотничьего азарта побороть не могли.

Впереди нас поднялась стайка дроздов и тут же из скал стремительно вырвался сокол, ринулся за одной птичкой. Зачирикал, затрещал дрозд от ужаса. Летит впереди сокола, виляет из стороны в сторону, кричит. Вот-вот достигнет его хищник. И вдруг дрозд со всего маху на воду сел. Взвился сокол и улетел. А дрозд потихоньку, потихоньку добрался до берега, выпрыгнул на камень, отряхнулся и головку утянул, съежился.

Знает, видимо, дрозд, как и многие другие птицы, что сокол лежачего не бьет, а только на лету, вот и сообразил, как уберечь жизнь. Я взял и этого дрозда, отогрел за пазухой, а потом отпустил возле стога сена, чтобы он подкормился. Сохранился ли он, этот крикливый дроздишка?

Уж очень тяжелая осень для птиц тогда была. На Урале такие осени нередки. И если осенью трудно птицам, то каково им зимой?

Тысячи птиц гибнут. Спасаясь от холода, птицы часто переселяются ближе к жилью людей. А тут их ловят кошки, да еще ребятишки иной раз бьют.

А как было бы хорошо, если бы каждый мальчик и девочка кормушку для птичек сделали да повесили бы ее в палисаднике или в огороде, или на опушке леса... Сколько тогда песен, звонких, залиvistых, радостных услышим мы весной — песен тех, кто пережил большую, трудную зиму.

---



Лесной поселок спал. Ленивое зимнее солнце еще дремало где-то за темным частоколом лесов, а Малахай уже медленно вдыхал морозный воздух и неторопливо хлопал хвостом по своему выпуклому крупу. Привычка отмахиваться от овода появилась в те годы, когда был он маленьким, тонконогим жеребенком. Эта привычка так въелась, что он даже зимой махал хвостом, похожим на обтрепанную метлу.

Возле черной, всегда пахнувшей угарным дымом бани Малахай остановился и поглядел вниз на курящуюся парком прорубь. Она была zagrożена от заносов пихто-

## БОЛЬШОЙ ДРУГ

выми вершинками. Малахай мог бы и без остановки довести бочку до конного двора, но он стар, и ему разрешается даже подремать, пока коновозчик Степка не шлепнет его вожжами. Тогда Малахай качнет оглобли влево, вправо, тронет с места сани и не спеша зашагает по улице.

Еще не доехав до конного двора, Степка бросает вожжи и пулей летит в теплую, пропахшую сбруей конюховку. Долго греется Степка. Сейчас перепрягут Малахая в другие сани, и он повезет дрова в столовую, затем пристроят на сани короб, и Малахай доставит в кузницу уголь. Потом короб сбросят и поставят на сани посуду с едой для лесорубов. Из лесосеки Степка поедет быстро, будет хлопать вожжами, грозиться. Но пусть он ругается, пусть расхлещет вожжи о закаленный, много битый круп Малахая, конь не прибавит ходу. У него тоже есть характер, и характер привередливый.

На дороге слышались шаги. Идут ребяташки с сумками и портфелями. Сегодня тихое утро, и они отправились в школу пешком, а если бы мело, они поехали бы на Малахае и всю дорогу обзывали бы его «водовозной клячей».

Малахай насторожился, повернул голову в сторону ребяташек. Так и есть, у одного мальчишки прут в руке, и он крадется к Малахаю. Мальчишка ударил коня поперек спины. По заиндевшей шерсти прокатилась мелкая рябь. Мальчишке понравилось бить коня, который стоял понуро и не мог отойти или лягнуть его: упряжь мешала. Но только замахнулся мальчишка, чтобы хлестнуть коня еще раз, слышался окрик:

— За что лошадь бьешь?

— Да разве это лошадь? — засмеялся мальчишка. — Это же кляча водовозная.

Начальник лесопункта Константин Федорович отнял у мальчишки прут, отшвырнул его и отпустил чересседельник. Малахай заржал чуть слышно, с прищелпом и старческим сипом, потянулся дряблыми губами к руке Константина Федоровича. А тот вынул из кармана ломоть хлеба и принялся кормить лошадь.

— Живешь, старина, живешь! — приговаривал Константин Федорович, глядя Малахая по плосколобой голове. — Степка опять забыл про тебя.

Константин Федорович бросил Малахаю сена и, побранив Степку, уехал. На реке он догнал ребяташек. Они стали проситься в кошевку. Но он нахмурился и сказал:



— Не хочу возить таких, и лошадь не захочет, потому что вы и ее можете обидеть.

— Да мы хороших коней никогда не обижаем.

— А Малахай, значит, плохой, да? — еще сильнее рассердился Константин Федорович и неожиданно скомандовал: — Вались в кошевку!

Ребята не заставили себя упрашивать. Когда они немного уgomонились, Константин Федорович начал рассказывать:

...Мальчишке было шесть лет, а жеребенку — шесть дней от роду, когда они познакомились. Мальчишку звали Котькой, жеребенка — еще никак. Котька был одет в отцовскую фуфайку до колен и поношенные валенки, из которых торчали сенные стельки.

Жеребенок понравился Котьке. У него были длинные ноги с толстыми коленками и темными копытцами; пушистая коротенькая грива, которую Котьке хотелось потрогать рукой. Мальчишка было потянулся, но жеребенок взглянул на него темными, похожими на сливы, глазами и вдруг брыкнул ногами, замотал головой, весело и тонко заржал. Котька вдоволь нахохотался и сказал самое смешное из всех слов, какие слышал:

— Малахай!

Так жеребенок получил имя.

Шли годы. Малахай стал доброй ездовой лошастью. Котькин отец возил на нем древесину по тряским лесным дорогам, а сам Котька учился в школе. Утром и вечером он виделся с Малахаем. Утром заносил ему кусочек хлеба, по воскресеньям — шаньги. Малахай медленно жевал, а потом мягкой и нежной губой благодарно трогал Котькино ухо. Вечером мальчик брал Малахая под уздцы и спускался с ним к реке, поил водой. Летом коня запрягали редко. Вместе с другими лошадьми он уходил на летний выгон и там нагуливал силу.

Котька и сюда часто наведывался. Он вырос и теперь уже свободно гладил Малахая по спине. Однажды Котька пришел тихий, задумчивый, молча дал лошади кусочек капустного пирога и сказал:

— Вот, Малахай, дела-то какие. На войну папка ушел. Я теперь вместо него буду работать. Восьмой класс до после войны отложить придется. Семья, сам знаешь, какая большая у нас, мамке одной не справиться.

Пришла зима. Котька, или как его теперь все звали, Константин, надел меховую шапку отца, затянул ремнем фуфай-

ку, выпустил штаны поверх валенок и стал похож на коренастого мужичка. Работа коновозчика показалась ему не сложной, и только позднее он понял почему: Малахай настолько хорошо знал лес, дорогу, так умел взять воз с места, спустить его под гору, что если бы Константин и не держался за вожжи, он все равно бы справился.

Константин однажды потребовал, чтобы навалыщики прибавили воз. Малахай поднатужился и двинулся в путь.

Теперь Константин приносил Малахаю по утрам не хлеб, а вареную картофелину. Конь вздрагивал, губами разминал ее, и взгляд его спокойных и добрых глаз будто говорил: «Ничего, спасибо и за картошку, не дорого угощение, дороговнимание».

Как-то Константин зашел в конюшню в необычное время, поздно вечером, после того, как из города пришла лошадь с почтой. Константин подошел к Малахаю, нащупал в темноте его рот, сунул ему картофелину и, обняв за шею, заплакал:

— Не запряжет больше папка тебя, Малахай!

На следующий день Константин еще прибавил воз, и Малахай, пуская ноздрями клубы пара, потянул. Они уже делали третий, последний в этот день рейс, когда начало смеркаться.

На крутом склоне Константин не подложил тормоз под сани, понадеялся на Малахая. Так он делал много раз. Малахай, широко расставляя передние ноги и припадая на задние, медленно спускал сани с бревнами под гору. Константин тихонько сдерживал его вожжами.

Но вот сани покатались быстрее, быстрее. Константин натянул вожжи, однако ничего не помогало. Воз набирал скорость. Сани заскрипели. Малахай захрапел. Еще минута, и бревна сомнут его, искалечат.

Константин, что есть силы, натянул вожжи. Малахай почти сел, и в это время воз ударился обо что-то. Константина швырнуло на пень грудью, бревна навалились на него.

Малахай сделал невероятное усилие, сумел остановиться. Воз нажал еще сильнее, оглобли вытянули вперед гужи с хомутом. Конь стоял твердо. Он медленно повернул голову налево, скосил свой темный, похожий на сливу глаз. Заметив Константина, который, раскинув руки, словно собираясь обнять кого-то, лежал на пне, — громко и тревожно заржал.

Это было редкостью, чтобы Малахай ржал. Электропильщики и сучкорубы, работавшие на лесосеке, сразу обратили на это внимание и поняли — случилось неладное.

Константина отпоили водой. С ним ничего особенного не случилось. А Малахай еще сумел спустить воз под гору и тут, тоскливо взглянув на Константина, лег на бок.

...Константин Федорович закончил:

— Больше месяца я ухаживал за Малахаем, как за малым ребенком. Поправился он, но лес на нем уже нельзя было возить. И вот много лет этот добрый, рабочий конь выполняет несложные, но трудные хозяйственные дела.

Ребята пристыженно молчали.

---



— Цып-цып-цып! —  
крикнула Сима.

К ее ногам, многоглаголющая, со всех сторон сыпались желтенькие цыплята. С солидным, материнским квохтаньем из крапивы появилась насадка. Сима одной рукой бросала на крыльцо избы крупу, другой загораживала глаза от солнца. Она зорко следила за коршуном, который делал медленные круги над избушкой.

— Ишь, какой враг! — ругала Сима пернатого хищника. — Две цыпушки уволок! Понравилось. Еще прицеливаешься? Я вот тебе!

И, словно убоявшись

**СИМА**

Симиного кулачка, коршун начал подниматься выше, дальше и, наконец, исчез совсем, будто растаял в ярком солнечном свете.

Сима пересчитывала цыплят, но те шустро копошились у ног, лезли один на другого, и счет путался. Она снова принималась тыкать пальцем перед собой:

— Одна, две, три, пять, семь... Ой, да ну же, дурашки, стойте же! Ой, беда с вами... Одна, две, три...

Сима так и не сосчитала цыплят. На сеновале закудахтала курица. Надо было спешить. В последнее время куры наловчились клевать яйца. Прозевашь — не найдешь даже и скорлупки.

Сима забралась на сеновал, вынула из гнезда еще теплое яйцо, выпустила на волю курицу. Затем принесла воды, наредила картошки, поставила в печку суп и начала прибираться в избе.

Занятая хлопотами по хозяйству, Сима не заметила, как к берегу пристала лодка.

Из нее вышла уже немолодая женщина, одетая в блузку и легкую юбку. Женщина долго привязывала цепью лодку к бревну, потом раздраженно махнула рукой, взяла крупный камень, придавила им цепь и направилась к избушке.

Избушка эта выглядывала одним окном из буйно разросшихся в палисаднике кустов калины, смородины и крыжовника. У раскрытых дверей приезжая остановилась и с удивлением стала глядеть на хлопотавшую в комнате девочку. Была эта девочка худенькая, остроносая, похожая на шустрюу синичку. Она вытирала пыль с радиоприемника и напевала:

Я хожу одна, ну что же тут хорошего?

Коли нет тебя со мной, мой друг...

Женщина, улыбаясь, переступила порог и сказала:

— Здравствуй, душечка-девица! И не тоскуй очень-то.

Сима вздрогнула и уронила тряпку.

— Ой, как вы меня напугали! — И, одернув неумело заштопанный передник, она степенно добавила:

— Здравствуйте, пожалуйста!

— А где, детка, твой папа и мама? — спросила приезжая, пряча улыбку. Она хотела сказать еще что-то, но осеклась, увидев, как сразу поникла головой девочка.

Лицо Симы стало печальным, а мазок сажи под носом как бы увеличился. Она подняла голову, грустно взглянула на женщину и тихо проговорила:

— У нас нет мамы.

— Не-е-ет? М-м... Ну, ничего, деточка, ничего, не плачь, — растерянно пробормотала женщина и смолкла.

— А я и не плачу. Я сначала все плакала, а теперь уж не плачу. Что же вы стоите? — спохватилась Сима. — Проходите, пожалуйста, садитесь, пожалуйста.

Когда приезжая села, Сима словоохотливо продолжала, как человек, долго ожидавший собеседника:

— Весной наша мама умерла. Я тогда в четвертом классе училась, в поселке, в лесозаготовительном. А у мамы сердце было больное. На реке ледоход начался, мамино сердце и схватило. Папа в город верхом поскакал, да не успел врач... — Сима тяжело вздохнула:

— Вон там мама лежит, за огородом.

— Ты, значит, одна хозяйничаешь?

— Ага, одна. Папа мой все ездит, а я все одна, одна...

— Как звать-то тебя, милая? — ласково спросила гостья и своим платком начала вытирать у Симы под носом сажу.

— Что, сажат?.. Симой меня зовут. Когда папа шутит, то называет Серафимой Тимофеевной. Вот он, мой папа, — показала она на фотографию, — это он на войне снимался.

Женщина нацепила на нос пенсне и внимательно посмотрела на фотокарточку, вставленную в самодельную рамку. С фотографии простовато, с чуть заметной улыбкой, глядел сержант, круглолицый, безбровый.

— Красивый мой папа, да? — поглядывая через плечо женщины, сказала Сима.

— Ничего, бравый вояка, — ответила та и, повернувшись к Симе, спросила:

— Слушай, Симочка, нельзя ли за твоим папой сбежать?

— Ой, что вы! Папа за дальний перевал уехал лесосеки отводить. Он ведь лесник. Без его разрешения леспромхоз даже ни одного прутика не имеет права срубить.

— Вот незадача...

— А вы с какой просьбой к нему, тетенька? Тоже насчет лесосек, да?

— Нет, Симочка, я по другому делу. Я — новый врач лесозаготовительного поселка. Зовут меня Александрой Карповной, словом — тетей Сашей. Плыву вот в город с больным, в больницу его надо срочно... Мы полагали, что через порог нас твой папа проводит, а теперь, право, не знаю, как быть.

Сима задумалась, плотно сжала тоненькие губы. Брови, похожие на ржаные колоски, сошлись.

— Как фамилия больного? — спросила она через некоторое время. — Я там в поселке почти всех знаю.

— Фамилия? Вот забыла. В истории болезни написано, да она в лодке. Знаю, что мастером работает и все его называют дядей Костей.

— Дядя Костя! Что же вы? Дядя Костя в лодке, больной! — засуетилась Сима и, повязывая косынку, решительно заявила:

— Я провожу вас через порог.

— Что ты, что ты, не выдумывай! — замахала руками Александра Карповна. — Ты нас утопишь и сама утонешь...

— Быстрее же надо, сами говорите! А чтобы утонуть — не беспокойтесь. Я одна, без папы, может, раз двадцать через этот порог проплывала.

— Сима, а ты правду говоришь? — недоверчиво спросила Александра Карповна.

— Сами увидите, — ответила Сима и пошла из избушки. — Если боитесь — идите через горы, а мы с дядей Костей поплывем. Он-то не испугается.

— Чтобы я оставила больного? Как ты можешь говорить такое? — обиделась Александра Карповна и последовала за девочкой, мелко семенявшей загорелыми ногами по острым, горячим камням.

...Пробиваясь в горах, река Золотайка, на берегу которой приютилась лесничья избушка, делала множество замысловатых петель. Против самой избушки Золотайка круто поворачивала вправо. Всею своей силой она обрушивалась на подмытые снизу огромные камни и, разъяренная, сразу же кидалась в другую сторону. Так металась Золотайка то вправо, то влево, зажата с обеих сторон равнодушными глыбами утесов.

Ниже избушки было такое место, где два утеса — один слева, другой справа — забрели по пояс в воду и насыпали перед собой камней. Цепь этих камней тянулась наискось по реке, образуя угол. И в самом углу, почти посредине реки, метрах в пятнадцати друг от друга торчали два острых клыка. Потому и называли порог — Двужубый.

Река бешено бурлила на камнях, швыряла клочья пены, а затем опрометью неслась в узкий коридор, и два каменных зуба словно процеживали ее.

Сима почти не гребла. Она только изредка толчком весла направляла нос лодки на струю. Вот струя повернула и понесла лодку прямо на скалу. Сима ногами нащупала на дни-

ще лодки поперечину, уперлась в нее. «Ох, сейчас и помчит, только держись!» — подумала Сима и, чтобы отогнать страх, попыталась припомнить что-нибудь интересное или веселое. Но вместо веселого вдруг вспомнилось на мгновение лицо матери.

Когда Симу привезли из поселка, она не сразу узнала мать. Ласковое и немного печальное при жизни лицо ее сделалось строгим, один глаз был чуть приоткрыт. Кто-то боязливым шепотом тогда сказал: — «Закрывать надо глаз-то, а то она еще кого-нибудь высмотрит и заберет с собой».

Сима тряхнула головой, и видения исчезли.

Скала приближалась. Александра Карповна заерзала на носовой беседке. Ее и без того большие глаза раскрылись еще шире.

— Симочка, детка, ты почему... ты почему же это самое... не гребешь, а? — с беспокойством спросила она.

Сима не отзывалась. Она, не мигая, смотрела на приближающуюся глыбу.

— Сима, ты разве не слышишь?

— Не мешайте, — сквозь стиснутые зубы прошептала Сима.

— В самом деле, доктор, не гукайте ей под руку, — сказал дядя Костя. Говорил он спокойно, но лицо его было совсем бледным и на руке, уцепившейся за борт, от напряжения вздулись синие вены.

Словно готовясь к прыжку, Сима выгнулась вперед. На ее остреньком носу блестели капельки пота или воды; челюсти резко обозначились оттого, что она крепко стиснула зубы. «Только бы папа не вернулся», — мелькнуло у нее в голове.

С тех пор, как отцу внушили, что мать кого-то «высматривала», он стал бояться за девочку. Иногда проснется Сима среди ночи, а отец смотрит на нее с испугом; или вдруг прискачет откуда-то на взмыленной лошади, бегом кинется в избу и, увидев Симу в целости и сохранности, сядет на скамейку и опустит руки.

«В поселок жить переедем, — постоянно твердил он, — на людях там будешь», — и наказывал Симе, чтобы она не уходила далеко в лес, не лезла в реку, не наступила бы на змею. И где бы ни был отец, он обязательно возвращался ночевать домой...

Старый мастер — дядя Костя, захватив рукою низ живота, смотрел теперь на Симу не отрываясь и, заметив, что она



начинает горбиться, да еще к тому же закрывать глаза, крикнул:

— Серафимушка-а-а! — и возбужденно, даже весело, как показалось Симе, рассмеялся.

Тень от утеса заколыхалась в воде и закрыла лодку. Сима внезапно выбросила весло и сделала несколько молниеносных ударов.

— Так-так! — одобрительно кивал головой дядя Костя. Лодку качнуло, но утес уже был за кормой. Теперь среди пены и брызг, подпрыгивая на частых волнах, суденышко несло в пасть Двузубому.

Ловко работая веслом, Сима держала лодку на струе. Струя прихотливо виляла из стороны в сторону, а то вдруг ловким выюном ныряла вглубь, оставляя глубокие воронки.

Мимо, мимо, мимо!

Кажется, все мускулы тела переместились в твердо сжавшие весло пальцы.

Лодка вырвалась на середину реки. Впереди грозно ревел и пенился порог. И этот рокот и гул начали давить девочку. Сима увидела, как закрыла ладонями глаза Александра Карповна. Она поняла, что порог давит не ее одну. Девочка напряглась до предела, сильнее сжала весло. Она еще успела сделать гребок из-под лодки, когда совсем близко возник темный, скользкий камень. Лодка дрогнула, что-то сухо щелкнуло, как переломленная лучинка и, пошлепывая носом, лодка помчалась по вихрастым, но уже не очень буйным волнам.

Сима оглянулась и заметила на остром выступе камня щепку. Она перевела взгляд на лодку: на левом борту ее словно кто-то выгрыз кусок доски. Сима вздохнула и вдруг почувствовала, как сильно устала за эти несколько минут. Она положила весло, перегнулась через борт и зачерпнула рукой холодной воды. Рука дрожала и, пока она несла ее ко рту, в ладони не осталось ни капли.

Все долго молчали. Дядя Костя лежал, прикрыв глаза. Левое веко у него чуть подрагивало.

— Дядя Костя, ты ушибся, да? — виновато спросила Сима.

— Я-то? — встрепенулся дядя Костя. — Нет, Серафимушка, не ушибся, просто нездоровится мне чуток и на воду глядеть надоело. — Пригладив седые, вьющиеся на висках взмокшие волосы, спросил:

— А как ваше самочувствие, доктор?

Александра Карповна кротко улыбнулась в ответ бледными губами:

— Да я, знаете... все не пришла в себя, — она на секунду смолкла, бросила взгляд на бушующий сзади порог и добавила: — Надо было взять провожатого еще в поселке. Это вы настояли на своем, упрямец! «Людей по пустякам от работы отрывать»: Вот они, ваши слова. Я не знала, что пустяком вы называли этот ужасный порог, ни за что бы без лоцмана не согласилась.

— А чем Серафимушка не лоцман?

— Ну, дорогой мой, за этого лоцмана, я думаю, нам еще попадет. Мы могли собой рисковать, но ребенком... Как я могла согласиться? — Александра Карповна помочила в воде руку и приложила ее ко лбу.

Дядя Костя перестал растирать живот, с болезненной гримасой приподнялся и перевел дух:

— Не удивляйтесь, доктор, Серафимушка — дочь лесника. Здесь родилась и выросла. Вот поживите в наших местах, пообыкните, тогда и вам не в диковинку будут такие штуки. Правда, Серафимушка?

Сима смутилась и принялась рассматривать свои босые ноги. Мастер достал папиросу, закурил, сморщился:

— Вы знаете, доктор, там, на пороге, у меня вроде и резь прекратилась. Я уж думал, не зажило ли? Ан нет, окаянная хворь пуще прежнего начала донимать. И порогов больше не встретится. Вот беда-то!

— Не надо! Ну их! — отмахнулась Александра Карповна и властно прикрикнула: — А вы чего это зубы мне заговорили и поднялись? Лежать, не двигаться!

— Серафимушка, ты давай, голубушка, поворачивай к берегу, а то тебе далековенько бежать придется, — словно не расслышав приказаний доктора, но все же укладываясь, сказал мастер девочке.

Когда лодка ткнулась в берег, дядя Костя подозвал Симу, взял ее руку, погладил и, заглянув в глаза, спросил:

— Серафимушка! Скажи по правде: плавала ты без отца через порог?

— Плавала, но вы папе не сказывайте. Заругает.

Старый мастер вспомнил, что отец Симы уже не раз обращался к нему с просьбой помочь устроиться на работу и на жительство в поселке. Но все как-то было недосуг заняться этим делом, да и просьба лесника казалась не совсем серьезной. Думалось, что ему не живется на своем месте? Но сейчас мастер твердо решил: вернется из больницы, обязательно поможет леснику с Симой перебраться в поселок. За девочкой

нужен глаз да глаз, заботливые руки, конечно, не мужицкие. Одна через порог плавает! Куда это годится?.. Поживут первое время у нас, не стеснят, а потом что-нибудь придумаем.

— Надоело тебе, Серафимушка, здесь? — спросил дядя Костя.

— Скорей бы в школу, — вместо ответа выдохнула Сима и присела на нос лодки.

Александра Карповна, приводя свою прическу в порядок, бормотала, казалось, совершенно не вникая в их разговор:

— Какие дети! Какое мужество! Вот они, герои, откуда берутся, — она с нескрываемой любовью поглядела на девочку, которая сорвала на берегу перышко дикого лука и жевала его, беспечно перекатывая ногой бурый голыш.

— Ладно, доктор, не смущайте девчурку, а перебирайтесь-ка на ее место и поплывем по морям-по волнам! — Дядя Костя устроился поудобней и спросил:

— Что, Серафимушка, тебе в подарок привезти? Говори, пока не отчалили.

— Ничего не надо! Поправляйтесь поскорее. К нам потом заезжайте. Если, может, нитки десятый номер попадутся, тогда купите, починяться нечем, да еще книжку про Володю Дубинина. Нам в школе читали, но не всю!

— Обязательно заеду. Обязательно. Я докторам не поддамся, я их еще переживу. Ну, беги, беги. Кабы отец не нагрнул.

Сима уперлась босыми ногами в острый камешник, налегла плечом на нос лодки, и она с хрустом сползла на воду. Лодка, кормой вперед, поплыла вниз по течению.

Александра Карповна взяла весло, но не гребла. Ласково улыбаясь, она глядела на девочку. Сима, сама того не замечая, шла и шла по берегу вслед за лодкой, и докторша вдруг поняла, что Симе не хочется отпускать их и возвращаться в пустую избушку, что в душе этой девочки живет не только отвага, но и глубокая печаль.

— Сима, ты обязательно зайдешь ко мне, когда приедешь в поселок. Заходи вместе с папой, — неожиданно вырвалось у Александры Карповны. Тут она вспомнила про больного, смутилась и торопливо прибавила: — Я тебя вареньем угошу. Какое варенье любишь?

— Чтоб только не кислое. А у вас есть с кем играть? Сын или может дочка? — все еще поспевая за лодкой, спросила девочка. Вот она споткнулась об острый камень, но не обра-

тила на это никакого внимания, лишь смешно оттопырила ушибленный палец.

— У меня никого нет. Все в Ленинграде, в блокаду... Я на санпоезде ездила, а они там... остались, — сказала Александра Карповна с тем вздохом, за которым скрывалась давняя, притупившаяся, но неистребимая боль. — Одна я... — и через силу улыбаясь, как можно веселей, добавила: — Впрочем не совсем одна. Есть у меня две Дуськи, забавные кошки. Приезжай, сама увидишь. Приедешь? Хорошо?

— Хорошо, — чуть слышно ответила Сима.

Она остановилась, хотела махнуть этой большеглазой, ласковой и какой-то немножко чудной женщине. Но за утесом, как раз над ее избушкой, снова закружился коршун. Сима быстро сорвалась с места и побежала в гору. Ее темные от загара ноги ворвались в заросли цветов — марьиных кореньев — и следы девочки устлали яркие лепестки.

...Александра Карповна опустила глаза и заметила возле своих ног в кормовом отсеке два желтоглазых рубиновых цветка. Она взяла цветы, осторожно расправила смятые ногами Симы лепестки и, не зная, что дальше делать с цветами, поднесла их к носу. Большие, красивые цветы имели родной для врача лекарственный запах, а от тычинок, напоминающих сердечки, обильно сыпалась желтая пыльца.

— Я бы хотела иметь такую дочь, — задумчиво сказала Александра Карповна, проводив взглядом маленькую фигурку в белом платьишке за перевал.

Дядя Костя посмотрел на нее внимательно, хотел что-то сказать, но боль в животе усилилась, он сморщился, закусил губу.

Александра Карповна все еще смотрела вслед девочке, а когда вспомнила про больного и взглянула на него, то лицо мастера уже было спокойным. Можно было подумать, что старый мастер прислушивается к шуму порога, который, отдаваясь, становился тише, тише и уже сливался с шумом леса, спустившегося с гор к самой реке.

---



Лед на Енисее еще не тронулся, но перелетные птицы уже появились. В Заполярье всегда так — птицы опережают весну. Где-то в верховьях Енисея они прилетают на полую воду, потом настигают ледоход и обгоняют его.

Колхозные бригады охотников выезжают на промысел за птицей.

Захарка в колхозе еще не состоял, ему было всего двенадцать лет. Но, несмотря на это, приходилось Захарке помогать семье. Семья немалая — четверо ребят (себя Захарка к ребятам уже не причислял). Отца Захаркиного на войне убили, работница в доме одна

## НА ПЕРЕЛЁТЕ

мать. Она на рыбоприемочном пункте работает резальщицей.

Станок Агапитово, где жил Захарка, совсем мал, всего несколько домиков. Работы в станке никакой сыскать невозможно. Одна рыболовецкая бригада в Агапитово — и все. Самое большое начальство здесь бригадир и пекарь. А до станка, где правление колхоза и сельсовет, более сотни километров.

Захарка подсоблял семье охотой. Зимой он ловил силками белых куропаток и однажды утерялся и чуть не замерз. Мать после того не стала пускать Захарку на охоту. К весне совсем трудно стало семье. Вот Захарка и прилачился к пекарю в помощники. Дровишки пилит и колет, печь топит, пол мочет — что заставит пекарь, то и делает Захарка. Лишь бы накормили. Поест Захарка в пекарне, значит его хлебный паек матери и братишкам с сестренкой достанется.

Надо жить. Надо до лета дотягивать. Летом в Заполярье — хорошо. Дичь, яйца, рыба, ягода, грибы, орехи... Летом в Заполярье жить можно.

А между тем пекарь явно зазнался. Жил он по поговорке: «сыт, пьян и нос в табаке», да мало того, еще и все население поселка держал в кулаке. Хлеб тогда не только выпекали на пекарне, но и отпускали здесь же. Захочет пекарь хлеб отпускать — отпустит, не захочет — не отпустит, иди на него жалуйся...

Ну, а Захарку пекарь совсем заездил, а плата ему одна — кусок хлеба.

Однако все стерпел Захарка, дотянул до весны.

Птица пошла. Засобирался пекарь на охоту — гусятинки захотел. Мать Захаркина попросила его:

— Возьмите Захарку, Ануфрий Пантелеймонович. После того случая боюсь я одного-то отпускать, а он рвется на охоту.

—хлопот с ним не оберешься, — поморщился пекарь, — расхнычется еще.

— Да нет, что вы! Он у меня северянин, ко всему привычный, — мать хотела сказать, что и охотник Захарка удачливый, а в ходьбе за ним и взрослому не угнаться, с семи лет ружьем владеет мальчишка, да не успела она ничего разъяснить.

— Ну ладно, ладно, возьму, — кисло согласился пекарь. — Будет обед мне готовить, вещи сторожить...

И вот они шагают по песчаному берегу — грузный, с розовой шей пекарь впереди, а Захарка, чуть кривоногий, коре-

настенный, — сзади. У Захарки на ногах резиновые сапоги с галошами. Галоши на резиновые сапоги, конечно, не надеваются. Но это когда сапоги целые, а если у них нет подметок, тогда с галошами тоже ничего.

Пекарь в болотных сапогах-вытяжках. Рюкзак у него казенный — с застежками, пряжками, железками. У Захарки просто мешок из-под муки, с опояской вместо лямок. Ружье у пекаря — бескурковка заграничная, с выгравированными зайцами и утками на щеках. У Захарки «тулка» отцовская, без всяких зайцев. Старая, добрая «тулка», с верным боем, и «тулку» эту Захарка ни в жизнь и ни за какие заграничные ружья не отдаст, пусть хоть из золота они будут сделаны.

Километров пятнадцать отмахали пекарь с Захаркой. Пришли на огромный песчаный мыс. Через этот мыс каждую весну переваливаются караваны птиц.

Пекарь приказал делать Захарке стан, отабориваться, а сам принялся устраивать скрад на мысу.

Захарка, ловко орудуя топором, нарубил пихтача, сделал «kozyрек» и развел под ним огонь. Потом опустился на мыс и тоже начал сооружать скрад.

Пекарь посмотрел на него с любопытством:

— Ты чего?

— Как чего?

— Делаешь, спрашиваю, чего?

— Скрад делаю, не видите что ли?

— Скра-ад?! А зачем?

— Известно дело, зачем — стрелять.

— П-сс-сых, — засмеялся пекарь и боднул Захарку взглядом. — Стрелок сопливый! Мешать только! Сиди уж на стане, при багаже. Две-три утки уделю потом.

— Мне вашего не надо. Я сам добуду.

— Ну, дело твое. Только гляди. Я лютой на охоте — упреждаю...

— Ладно пужать-то, пуганый уже, — буркнул Захарка и занялся своим делом.

Ночью пекарь ворочался с боку на бок. Привык в тепле нежиться и оттого мерз, хотя одет был толсто. А Захарка в телогрейке, под которую была подпернута шерстяная кофта матери, в латаных ватных брюках и в сапогах с галошами спал рывками, но крепко.

Час-полтора проспав на одном боку, Захарка вскакивал — иначе застудишься. Он подживлял огонь, распахивал телогрейку, грел грудь, спину, потом снимал сапоги с галошами и

«калил» портянки. Хорошо согревшись, он засовывал руки в рукава и падал на пихтовые лапы. Тут же он и засыпал. Захарка знал, что при стрельбе в лёт нужно быть бодрым, хорошо отдохнувшим, чтобы и рука и глаз были верны.

Рано утром Захарка скинул телогрейку, материну кофту и побежал к берегу. Он умылся в Енисее почти до пояса. Пекарь съежился, глядя на Захарку, и даже губы у него посинели.

— Загнё-ошься, — пообещал он Захарке.

— Ничего, ничего, — быстро натягивая на себя одежду, сказал Захарка. — Зато потом жарче будет, а вас, как от огня отойдете, цыганский пот прошибет, помяните мое слово.

Славный скрад у Захарки. Затащило еще в прошлую весну на мыс кусок земли с дерном и весь он пиками тальника оброс, пальца не просунешь — так густ тальник. Захарка лозины в середине вырубил, а вершинки крайних связал — вот и готов скрад. Главное, птицы помнят: в прошлом году осенью здесь этот островочек тальника был и не станут облетать его.

Сидит Захарка в скраде, поглядывает, птицу ждет.

Утро пришло в Заполярье! Пески на берегах чуть курились. Снег с песков уже сошел и они жадно, неумоимо вбирали солнечное тепло. В кустах и по закрайкам озер снег еще лежит, плотный, с ноздреватой корочкой наста. Днем эта корочка рассыпается со стеклянным звоном. Песчаный мыс изогнутым крылом врывается в Енисей. Темны, огромны забереги у Енисея. Две-три иные реки уместятся в одну такую заберегу. И с той, и с другой стороны уже отпаялся лед давно от берегов. Но пока он еще стоит.

В тихой студеной забереге частые кружки, будто от дождя. Это селедка-зубатка начала появляться, значит, не сегодня-завтра река тронется. И вместе с льдом пойдет зубатка.

Льдины будут выталкивать селедку на берег косяками — знай собирай в корзины. Ну чтобы вот этой зубатке идти раньше или повременить день, другой и переждать ледоход — нет, прет, на смерть прет, а не отступает от своих законов.

Попробуй, разбери их, эти законы природы!

Сидит Захарка, думает. Холод к ногам подбирается: не очень стойки галоши против холода.

Высоко проходят громадные табуны уток. Эти идут еще дальше, их путь к Енисейской губе, к Диксону, к Ледовитому океану.

Но вот за мысом, над кромкой леса показался изломанный уголок. Он растет, ширится. То будто простым каранда-



шом, был отчеркнут на бледненьком небе, а теперь уж словно углем. Вон уже и пунктир образовался. Дробно рассыпался пунктир по небу, распался — точки, мячики, комки. Ближе, ближе. Га-а-ага! Га-га, га-га! Гуси!

Идут гуси. Медленно идут, устало. Огромный путь одолели они. Горы, реки, моря оставили позади. Сейчас гуси уже почти «дома» и оттого летят без строя, неторопливо. Надоела им дисциплина, надоел изнурительный перелет — пора и подкормиться, пора передохнуть.

По всему видно, гуси норовят сесть на мыс. Вот они снижаются, предупреждая друг друга, дескать, смотреть, смотреть и еще раз смотреть!

И в это время: трах-пах!.. Пекарь выстрелил, не утерпел.

Колыхнулась, рассыпалась и прошла над скрадом пекаря стая. Захарка на колено привстал, выцелил одну птицу, ударил, и она грузно упала в песок, взбив легкое облачко.

Пекарь в догонку гусям из обоих стволов бабахнул, но они были уже далеко, не достанешь дробью.

Прибежал пекарь к Захарке, глаза у него большие:

— Покажи гуся-то, — и стал вертеть птицу в руках, пальцами оглаживать:

— Ха-арош, ах ха-арош! Ловко ты его. А я, понимаешь, поторопился.

— Ну, ничего, — успокоил пекаря благодушный от удачи Захарка, — прилетят еще... Во! Слышите?

А вдали снова: га-га, га-га.

Юркнули в скрады Захарка и пекарь, но этот табун прошел стороной. Зато сразу же, один за другим и низко, прошли три табуна уток. Захарка выбил двух, а пекарь трех уток.

Все шло как будто хорошо. Пекарь ликовал:

— Ка-ак, я их, понимаешь, садану — и посыпались они. Бой у ружья — сила! Да и стреляю я отменно. Это уж давеча по гусям просто поазартничал...

Захарка молчит, только слегка морщится. Нехорошо это трещать на охоте, похвально. К охоте Захарка относится серьезно — она для него не забава, а работа, дающая пищу, жизнь. Так же к охоте относился и отец Захарки, а он был знатным промысловиком.

— Ша! — закричал сердито Захарка, — летят! — И пекарь послушно затих в своем скраде.

Шла большая, туго сбитая стая гусей — ворогук. Шла она ровно, без суеты, роняя редкую переключку на землю.

И на этот раз пекарь поторопился. Думал должно быть: как бы Захарка не опередил его. Он уже убедился в том, что болтать и мазать Захарка на охоте не любит. Плохо стрелял пекарь в табун, на удалую. Два гуся после его выстрела колыхнулись и пошли на сторону, к забереге. Вспахав крыльями белые борозды на темной воде, гуси тоскливо закричали, провожая родную стаю.

Захарка прихватил последнего гуся, который шел низко, на верный выстрел. Гусь упал чуть подалее скрада, но выправился и попробовал взяться на крыло. Захарка ринулся наперерез к нему и в это время: хлесь! Почти у самых ног Захарки прошла дробь. Парнишка оторопел.

А пекарь выскочил из скрада и на Захарку с кулаками: — Ты что это за чужими гусями гоняешься? Ишь, ловкий какой... Ишь... какой... Я их трех прихватил. Два-то вон на Енисей ушли, а этот пал, а ты его...

Видит Захарка — врет пекарь. По глазам видит, по сытым, бегаящим глазкам, по голосу слышит — врет.

— Как тебе не стыдно! — сказал он пекарю, сразу переходя на «ты». — У пацана отбираешь, детишек голодишь, сытый ты боров, крохобор ты, крохобор...

Пекарь аж захлебнулся от таких слов. Он привык к почтению, привык, чтобы его на «вы» называли, а тут — нá, скушай!

— Ну, ты, оглодыш! — замахнулся он на Захарку. — Гляди у меня. А то я властью отца твоего покойного отгаскаю за уши!

— Губошлеп ты! — презрительно сощурился Захарка. — Властью отцовской... При отце ты не посмел бы отбирать. Властью... У меня еще полон патронташ зарядов. Срежу, как чирка! По-огань...

Пошел Захарка прочь, в свой скрад, коренастый, кривоногий, не по годам скроенный, не по годам рассудительный и злой. Жизнь сделала таким Захарку, трудные военные годы сделали его таким.

Больше не разговаривал Захарка с пекарем и к хлебу его не притрагивался, хотя тот юлил и все время с едой насылся.

А почему он юлил — выяснилось после.

Четырех гусей добыл Захарка и уток штук двенадцать, можно сказать — на месяц семью едой обеспечил. А пекарь так с одним захапанным гусем да с несколькими утками домой плелся. Идет и все разговор подводит к тому, чтобы

разделить пополам добычу. Захарка делает вид, будто не понимает намеков пекаря. Прет тяжелый мешок, сопит, потом обливается и помалкивает.

Возле поселка пекарь без обиняков заявил:

— Слышь ты, сосунок! Не будет того, чтобы меня весь станок срамил, чтобы я ославился на весь свет из-за того, что ты меня обстрелял.

— По бутылкам ты мастер стрелять, да по консервным банкам, а по птице поучись! — процедил сквозь зубы Захарка и тут же добавил: — А насчет дележа подождать придется. У меня — семья.

— Ах так! — возмутился пекарь. — Кабы не я, так все вы давно бы уже ноги протянули. Подкормил на свою шею, подкормил-ил. Н-ну, погоди!

Пришел Захарка домой, супу из гуся наварил, ребят накормил, сам наелся и еще матери оставил.

А мать явилась в слезах.

— Что ты там наделал? Чем пекарю-то досадил? Зверем он на меня смотрит и говорит, что с сего дня никаких льгот нам не будет.

— Нужны мне такие льготы! — рассердился Захарка. — Кусочки подбрасывает, я батрачь на него... Не выйдет! Заелся он. На поклон к нему я больше не пойду, ни ногой...

...Прошлым летом ездил я в Заполярье и побывал на осенней охоте возле станка Агапитово. Довелось мне там ночевать у бригадира Захара Тунегова. Он-то и рассказал эту историю.

— Ну и как вы тогда?

— Выжили. Тем же летом с хлебом полегченье стало, прибавили нам паек. А пекаря посадили... Подмешивал он чего-то в хлеб, обманом занимался — вот и угодил куда надо, — Захар вынул трубку, закурил и добавил: — А я вот и поныне его, паразита, забыть не могу, так-то он мазнул сажею по моему детству.

Захар замолчал. Сидел он на опрокинутой лодке. Над Енисеем торопко проносились стаи уток, куликов. Кружились и вскрикивали чайки. Начинался осенний перелет. Птицы отлетали на юг, в теплые края, замыкая свой ежегодный, великий путь.

Шли и шли табуны над широкой рекой. Их провожали задумчивые, мудрые глаза Захара Тунегова, охотника северянина, который не знал, что такое детство, но зато рано узнал, что такое труд и сиротство.

---



Еще никто и никогда не подсчитывал, да вряд ли и подсчитает — сколько вреда приносит неумелый или корыстный охотник.

Я не принадлежу к числу тех охотников, которые в лес ходят только затем, чтобы любоваться им, фотографировать птичку, белку или козочку, которые и ружье-то берут с собой просто так, ну, для экзотики, что ли...

Я не верю таким людям. Не верю потому, что знаю — из этих вот ханжей, «любителей» получаются самые страшные браконьеры, которые не

## СТРАШНАЯ СМЕРТЬ

брезгают в лесу ничем, никого и ничего не щадят. Да, они могут сфотографировать птичку, белку, но тут же застрелить ее и бросить.

Солдат проверяется в бою, охотник в лесу, только в лесу. Не верьте тем краснобаям, которые толкуются в охотничьих магазинах, бьют себя кулаком в грудь на разных собраниях, доказывая, что они хорошие люди, такие хорошие, что в лесу веточки не ломают, мухи не обидят... Врут!

Охота есть охота. На ней убивают птицу, зверя, но как, где, когда и для чего убивают? — Это вопрос наиглавнейший.

Ни один уважающий себя и природу охотник не позволит сжечь попусту патрон или убить птицу, которая не нужна ему или не годится в пищу. Не тронет охотник и белку, у которой мех не поспел, не тронет утят и тетеревят, не тронет любую самку весной. Охотник — страж природы, если он, конечно, разумный охотник, а не хвастунишка, пустозвон, который в лесу себя ведет, как вор в чужой квартире, — все хватает и крушит.

...Еще никто не подсчитал, сколько беды и убытку принесят нашей природе такие охотники. Иногда они могут убить даже человека, убить трусостью своей, жадностью.

Это они убили Кешу Разлётова, молодого, неустрашимого охотника-зверобоя.

Я помню его, голубоглазого, чуть горбоносого, со светлыми ресницами и ярким, пухлым ртом. Он походил на деvушку лицом. Характером был свойский парень: песельник, хохотун. Был очень удачлив в охоте. Старые таежники-зверовики с радостью брали его в артель, хотя был он еще очень молод.

Так он попал в артель охотника Лукаши на Стерляжий мыс. И всю зиму удачно добывал пушнину. Старый дядька Лукаша, воспитавший уже десятки охотников, очень привязался к Кеше и на лето не отпустил его в деревню, оставил при себе. А другие артельщики разъехались по домам. Нужно было косить сено, работать на пашне и в огородах.

Помню, был знойный, сенокосный день. В деревне старые да малые, а все остальные на лугах. Тишина, духота в деревне, собаки и телята в тени лежат, а мы, ребяташки, из воды не вылезаем — купаемся.

Смотрим — лодка плывет и в лодке охотник наш деревенский — дед Лукаша. Мы гурьбой к нему. На ходу штаны надеваем и уже кричим:

— Дядь Лукаша, что привез? Дядь Лукаша!

Лукаша всегда привозил нам из лесу какую-нибудь диковину и всегда радовался нам — ребятишкам. Был он всю жизнь холостяком и любил чужих ребятишек. Но на этот раз Лукаша не улыбнулся нам, а молча подтянул лодку и сказал:

— Покойника я привез. Ступайте за мужиками.

Разнесся плач по деревне. Прибежала с покоса мать Кеши Разлётова, ударилась грудью о камни, запричитала:

— Сокол ты мой, Кешенька! Какие же вороги-злодеи убили-то тебя? Что же ты худого им сделал? Или ты напереперек дороги им стал? Или ты прогневал чем их? Где же это они тебя удозорили, супостаты-ы-ы...

Тот, кто не слышал причитаний деревенской женщины, — не знает, что такое горе и что такое плач. Плач, от которого леденеет темя на голове, коробит кожу, сжимает горло и сердце.

Все, кто был тогда на берегу, вслед за матерью Кеши ударились в слезы. Уж больно любили в селе удалого красавца. Даже Лукаша, сроду не плакавший на людях, сел на камень, закрылся руками и прохрипел:

— Какого парня?! Какого парня?! Блудники, воронье таежное! Плачет пуля по вам...

Не стало Кеши Разлётова на земле. Всего семнадцать лет он прожил, а все из-за того, что доверчивым был, душа нараспашку. Перед каждым открывался до дна, а в лесу это не всегда следует делать.

Спускались с верховьев реки двое охотников и ночевать в избушке Лукаши остановились. Снаряжение у охотников доброе, ружья новые, припасов пол-лодки.

Вечером сели они ужинать, выпили и заговорили, перебивая один другого. Лукаша брезгливо покривился и ушел из избушки. А Кеша остался. Очень он любил разговорчивых, шумных людей. Проезжие хвастались, как они метко и здорово стреляют и какие они люди отважные, и вот если бы им медведь попался, н-ну...

— За чем дело встало? — улыбнулся Кеша. — Завтра отведу. Задрал тут недавно сохатого медведь, ходит, пасется...

Так и сделал Кеша. Отвел приезжих куда следует, а Лукаше ничего не сказал — не велел ему Лукаша связываться с этой компанией.

Два дня охотников не было. Потом заявились, сказали Кеше, что медведь перестал ходить к убитому лосю и уплыли. Посмеялся Кеша про себя над городскими охотниками и

решил сам того медведя ухлопать и так сделать, чтобы для Лукаши это сюрпризом было.

В тот вечер Лукаша уплыл на лодке хариусов с мережей ловить, а Кеша взял ружье и на медведя подался.

Семь дней искал по тайге Кешу Разлётова Лукаша и лишь на восьмой случайно, каким-то, только охотникам присущим, нюхом обнаружил его.

В густом, забуреломленном соснячке, куда зверь только из-за одних клещей не полезет, лежал Кеша, неловко подвернув руку. Правая нога его была зажата в медвежьем капкане.

Зачем поставили здесь капкан охотники? Дураку, и тому было бы понятно, что в бурелом возле привады зверь не полезет — треску, шуму много да и комар здесь тучами устаивается. Но вот поставили капкан и только. Почему не забрали с собой, когда уходили? Может, решили вернуться потом, может не захотелось тащить тяжелый капкан, может, медведя побоялись?

А Кеша шел спокойно по тайге, как по собственному двору, шел насвистывая. Вот и сосняк густой. Свернул в сосняк — отсюда до привады совсем близко. А если напрямик пойти — рядом. Шагнул Кеша и вдруг... дз-зык! Яростной, зубастой болью схватило ногу. Закричал Кеша на весь лес, заметался в капкане, попробовал руками пружину разжать, куда там — туга пружина.

Вспомнил Кеша про ружье, сорвал его с плеча: трах! трах! трах! Пронеслось эхо над лесом, в реку скатилось, трижды стукнулось в закрытую дверь избушки. Потом вспомнил Кеша, что нет дома Лукаши, уплыл он на лодке и когда вернется — неизвестно. А если и вернется, не знает он, куда ушел Кеша, не сказал ему об этом парень, потаился. Попробуй, найди человека в тайге. Велика она, необъятна...

Пытался Кеша палками разжать капкан, да палки поблизости были все хрусткие, от бурелома; пробовал ползти с капканом, даже отвязал его, изорвав в клочья пальцы о стальной тросик, но недалеко уполз — тяжел медвежий капкан, густ сосняк вокруг, непроходим валежник.

Долго боролся Кеша, долго ждал. Патрон за патроном выпускал он, призывая на помощь. Сколько суток он томился и страдал, сколько жил без еды, питья, истекая кровью, — знает только тайга.

Последний заряд он выпустил себе в грудь. Кончились силы человека, боль сломила его и он нажал спуск ружья.

Что пережил перед этим Кеша, что почувствовал? Когда Лукаша обнаружил его в капкане, голова и даже брови Кеша были седыми.

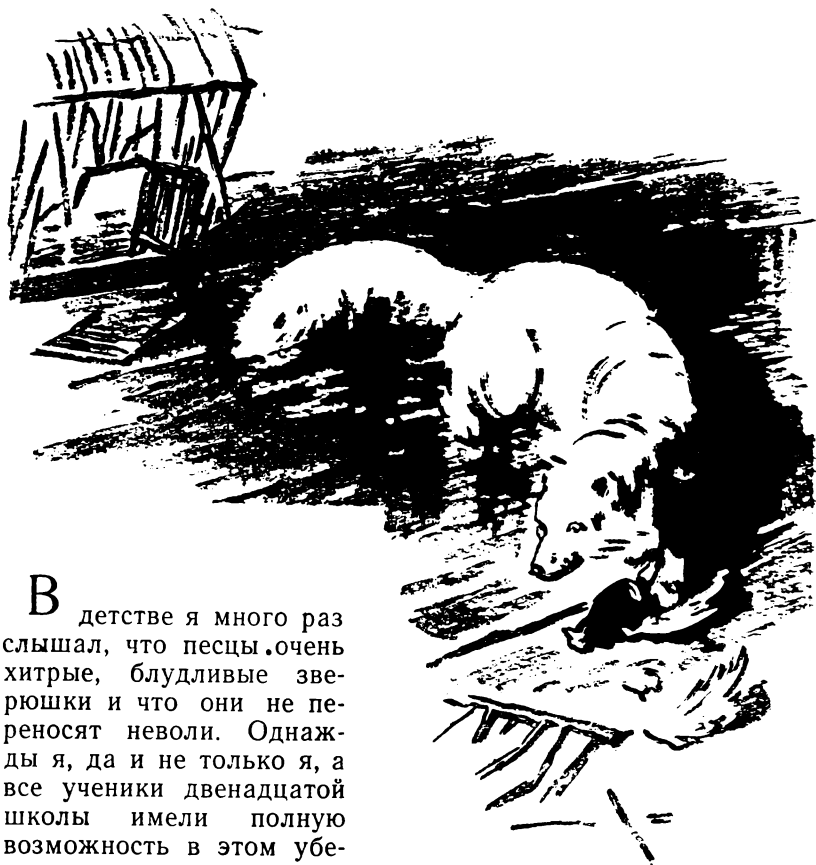
А ему ведь было только семнадцать лет.

Тех «охотников-медвежатников» так тогда и не нашли. Может быть, они где-то бродят по тайге и по сей день, а потом выступают на собраниях защитников природы, толкутся на рынке у охотничьих магазинов, бия себя в грудь кулаком, доказывают, какие они хорошие.

Не пускайте их в лес, не пускайте!

---





**В** детстве я много раз слышал, что песцы очень хитрые, блудливые зверюшки и что они не переносят неволи. Однажды я, да и не только я, а все ученики двенадцатой школы имели полную возможность в этом убедиться.

Школа наша стояла на окраине города Игарки, возле Медвежьего лога. За логом лесобиржа, рядом мелкий ельник и заросли карликовых березок.

Осенью, кажется тридцать девятого года, пошел песец через город. Надо сказать, что многие звери, когда они «идут»,

## **БРОДЯГА- ПЕСЕЦ**

иначе говоря, делают огромные перекочевки, никаких преград знать не хотят: город ли, вода ли, железная ли дорога — все равно пойдут.

Кто там у зверей планирует и выбирает маршрут — неизвестно, но если уж маршрут есть, песцы не свернут с него.

Много песка в ту осень пострадало из-за упрямства. Гоняли песцов по улицам собаки и давили, а то на бирже вдруг визг поднимется — это значит укладчицы — девчата — песка увидели и с досками бегают за ним вокруг штабелей, пока не зашибут. Глядишь, девушке воротник без отрыва от производства.

Непонятны, таинственны законы зверей. Ну, что бы, казалось, им обойти стороной город — гибель свою?

Нет, идут, на смерть идут, как говорится, без страха и сомненья...

В ту осень мы организовали в школе живой уголок. Сейчас мне трудно припомнить все, что там было, но белка, клёст, снегирь, кулик долгоногий, чирок-трескунок, мыши, помню, были.

В зимнее время мы решили пополнить уголок новыми экспонатами, которых летом не сыщешь, — это белыми куропатками, пушными зверьками и, конечно, если удастся, — песцом.

И вот на тебе, что называется, на ловца и зверь — песец — идет через город. Однако долго не удавалось нам изловить песца...

Но нам повезло.

Был урок ботаники. Не помню уж, чего мы тогда проходили. Должно быть, что-то интересное, потому что в классе было тихо. И вдруг:

— Ой, ребята, глядите!

Один парнишка, что сидел возле окна, сказал это таким голосом, что все мы ринулись к окнам.

— Прекратить! — закричал учитель, но не удержался и тоже в окно посмотрел.

А там, за окном, на помойке промышлял отощавший в изнурительном пути белый песец.

Мы немедленно организовали облаву и набросили на песца пальто.

С шумом, гамом мы водворили песца в комнату, названную живым уголком.

Весь день толпились ребяташки возле двери и заглядывали в замочную скважину. Дверь нам не открывали, чтобы

«не вносить нервозность в животный мир», как выразился руководитель кружка Зоська Мокрохвостов.

Задавался он страшно, этот Зоська, разговаривал только «учеными словами».

Так мы в тот день и не разглядели песка. В замочную скважину чего увидишь? Только заметно белеет что-то, да слышен обеспокоенный щебет пичужек и злой, настороженный цокот белки.

А наавтра...

Наавтра с самого утра в школе была паника. Зоська Мокрохвостов пришел раньше всех в школу проверять живой уголок. Заглянул в него и... никого не увидел. Пусто. Зоська даже дверь не закрыл — такой добрый — смотрите, ребятки, пожалуйста, смотрите, сколько душе угодно.

А чего теперь смотреть-то? Нечего смотреть.

Песец разломал деревянные клетки, съел все «экспонаты» и в форточку удрал. Это потому, что Зоська Мокрохвостов забыл форточку закрыть. Остались от живого уголка только перышки одни — рожки да ножки, как в песне поется.

И как он, этот песец, догадался и сумел удрать в форточку? Ведь живой-то уголок был на втором этаже.

Видно, очень, очень любит свободу красавец песец. Не хотелось, должно быть, ему отставать от своих товарищей, которые шли только им ведомой дорогой и только одним им известно — куда и зачем. А живым уголком песец «закусил», на дорожку подкрепился. Так с тех пор и не было у нас в школе живого уголка. И правильно! Незачем держать птиц и животных в неволе.

Любишь птиц — иди в лес, смотри на них, слушай, подкармливай, изучай, но в клетки не закрывай. Птица не для тюрем рождена, а песец тем более. Песец простор белый любит. Вот там среди этого снежного простора выследи хитрого зверька, добудь, тогда охотником называться будешь. А на перепутье, да еще голодного, да еще такой оравой — и медведя поймать можно, только чести-то сколько таким добычкам?

По-моему, нисколько.

---



**Ч**то и говорить, любил Иван Никитич делать внушения. А с тех пор, как стал он мастером в ремесленном училище, это у него в привычку вошло. Да и обойтись без этого трудно: в ремесленном группа из тридцати человек, дома — сам шестой. Народ дома и в группе проворный, на выдумки и проказы гораздый, и если этому народу постоянно не толковать, что так нехорошо, а этак некрасиво, то и ждать от него добра — дело безнадежное. По крайней мере, сам Иван Никитич был в этом уверен. Но однажды утром... Впрочем, не будем забегать вперед.

## ЗАПАХ ТАЛЬНИКА

Была у Ивана Никитича одна очень застарелая и сильная страсть — охота. Немало притеснений претерпел он из-за нее со стороны супруги. Но человек он упрямый и переборол даже супругу. Теперь, спустя тридцать лет совместной жизни, она бутербродишко какой-нибудь в мешок сунет добровольно, правда, не без выговоров насчет дурной головы, которая ногам покоя не дает. К слову сказать, Иван Никитич был в жизни человеком горячим и не переваривал «тихой» охоты с чучелами, с разными там подсадными утками.

Нет, он любил по горам ползать, и если уже не дичь, то ноги за выходной так убивал, что иногда у железнодорожного моста, от которого оставалось два километра до дому, начинал мечтать о попутной машине, как о величайшем счастье.

То было в прежние годы, а теперь Ивана Никитича чаще притягивает присесть, и горы ему уже кажутся высоковатыми, и километры длинноватыми. Характер у него стал ровнее и пристрастие к обстоятельным внушениям с годами усилилось. «Да-а, старость, старость, так это она пешком, тишком — и опутает незаметно человека по всем суставам, волос на голове поубавит. Ни красоты, ни удалства! Почету, правда, больше, да что из него, из почета-то, шубу шить?»

Так рассуждает Иван Никитич. Однако молодиться он не любит. Отпустил усы, носит просторный пиджак. Пришло время — согласился он пойти на «сидячую» охоту, за тетеревами.

Пригласил его с собой завхоз училища Терешкин. Расширив то ли от изумления, то ли от восторга маленькие желтоватые глазки, он, захлебываясь, говорил:

— Иван Никитич! Если бы ты видел! Тучи! Темные тучи! Я сижу, не дышу... В балаганчике сухо, красота, а они над головой: шш-жж-шш-жж, как еропланы! И в кошенину, и на снопы, и на березы! По ком стрелять, куда стрелять, растерялся я! Ей-бо!

— Ладно, доживем до воскресенья, увидим!

— Иван Никитич, ей-бо!

— Ну-ну, не божись за каждым словом. Нехорошо это, ученики могут услышать. Ты все-таки фигура немаловажная, завхоз — это значит заведующий хозяйством, можно сказать, после директора наипервейшая личность, на высоте надо держаться...

И вот они шагают по железнодорожной колее. Впереди чуть заметно серебрятся рельсы. Больше ничего не видно. Темень. С вечера прошел дождик. Воздух сырой, прохладный.

От леса тянет прелой листвой, сеном. Терешкин часто перебирает ногами, а Иван Никитич пытается шагать через две шпалы. Он никак не может привыкнуть, часто оступается и ворчит:

— Ходить по этим шпалам — расстройство сплошное.

— А ты по одной шпале-то, по одной, ей-бо!

— Ей-бо, ей-бо, не выходит у меня и по одной. Ноги-то сохатинные родителями дадены, только прыть уж не сохатинная...

Наконец они сворачивают с линии на лесную тропинку. Иван Никитич облегченно переводит дух, но преждевременно. Идти по лесу в такой темноте да еще после дождика, оказывается, куда хуже, чем по линии. Корни, валежины, пни, прутья цепляются за ноги. Иван Никитич придерживает правой рукой двустволку, а левой опасно прижимает к себе узелок. В узелке завернуты три пирога, яички и еще какая-то снедь для внучка Генки.

Нынешней весной старший сын Ивана Никитича уехал работать в колхоз, а с ним и Генка, любимый внук. Вот и навязали охотнику узелок. «Не задавит, говорят, попутно завернешь в деревню».

— Не задавит, не задавит, — бубнит Иван Никитич, — шмякнешься со всей этой продукцией. Причуды бабьи.

— Что ты сказал?

— Ночь, говорю, эта провалилась бы в тар-тарары...

— А-а, оно действительно.

Но вот на одной половине неба начинают резче вырисовываться облака, появляется полоска над кромкой леса.

В лесу тихо: ни шороха, ни звука. Только шлепают сапоги двух человек, шуршит мокрая трава да потрескивают сучки. Вот уже и тропинка немножко видна. Из сумерек начали выступать отдельные полуобнаженные деревья. Еще не видно, какие у них листья — красные, ржавые или желтые. Но уже по тому, как трепещут в ознобе листья и падают на землю, можно узнать, что это косматое деревце, наклонившееся над тропинкой, не что иное, как осина, а дальше начинают белеть березки. Не отличишь пока елку от пихты — обе темные, на обеих густо серебрятся капли дождя.

Вдруг лес разом обрывается, тропинка исчезает, кругом становится светлее — впереди большое, теряющееся в утренней мгле, поле. На нем маячит скирда.

— Вот мы и добрались, — шепчет Терешкин. — Давай скорее усаживаться, припоздали немножко, скоро прилетят,

ей-бо! — голос у Терешкина дрожит, прерывается; охотник сглатывает слюну и с нетерпением подгоняет: — Пошли, пошли! Во! — показывает он на что-то темное, рядом с опушкой леса. — Балаганчик — я те дам!.. Давай устраивайся, а я чучела выкину и дальше двину: там тоже балаган снопами закрыт, как дома в нём! Ну, я побег! Ни пуха тебе, ни пера и тому подобное.

Терешкин исчез. Его волнение передалось Ивану Никитичу. Он торопливо, но осторожно забрался в шалаш-скрад и сразу подумал: «Заговорил мне зубы-то, а сам, небось, в такое место пошел, где косачей полно. Буду вот сидеть тут, ровно филин, вертеть головой и слушать, как он там постреливает. Хитер этот «ей-бо», хоть с виду и простоват».

Иван Никитич ощупью прицепляет на какой-то сучок узелок с посылкой, устраивается кое-как. Чтобы унять ненужное возбуждение, закуривает. Сидит он, потягивает по-солдатски из кулака и слушает. Потной спине становится холодно, хрустят суставы ног — ревматизм корежит. День обещает быть пасмурным. Рассвет наступает медленно, словно нехотя. Но все-таки день приближается. Уже отчетливо видна впереди скирда, приткнувшаяся к одинокой липе, должно быть, сухой, потому что на дереве совсем нет листьев.

Иван Никитич замечает, что верх у скирды какой-то слишком уж тупой. Он напряженно вглядывается и удивленно бормочет:

— Раскрыт верх-то! Как же это? Осень ведь, — он с беспокойством оглядывается, поднимает голову и видит: скрад закрыт снопами. — Вот оно что, — догадывается Иван Никитич, — охотнички, значит, орудовали! Колхозники-то куда же смотрят? Взрели бы их как следует. Ах, сукины сыны, надо же додуматься!

Ивану Никитичу и раньше приходилось встречать охотничьи пакости: исхоженные вдоль и поперек овсяные поля, разваленные бабки, обдерганные зароды сена, разоренные скирды. И всегда становилось как-то стыдно за своего брата-охотника. Вот и сейчас ему сделалось не по себе. Он заерзал на коленях, поворчал еще немного, потом успокоился и благодушно отметил:

— А балаганчик-то хорош, ничего не скажешь! — и махнул рукой: — Что может значить какой-то десяток снопов?

Договорить ему не удалось: над головой прошелестели крылья. Он вздрогнул и увидел — впереди снижаются два черныша. Сели они далеко за скирдой. Ивана Никитича стал

колотить озноб. Он взвел курки и снова затаил дыхание. На сухую липу, к чучелам упало несколько тетеревов и замерло. «Пятьдесят или семьдесят метров будет», — прикинул Иван Никитич состояние, осторожно просунул ружье и прошептал:

— Ничего, возьмет!

Еще было сумеречно и птицы на дереве вырисовывались неясными контурами. Иван Никитич подвел мушку под нижний комочек. Сверкнул огонь — и покатился первый выстрел, взбудоражив утреннюю тишину. Еще не успело укатиться эхо за выступившую из темноты деревеньку на берегу реки, как ухнул выстрел в другом конце поля. «Ей-бо» трахнул из своего двенадцатого калибра!» — отметил Иван Никитич и снова замер. Под липой, в стерне что-то чернело, не разобрать — тетерев или клок сена.

Минут двадцать тетерева не появлялись. За это время на другом конце поля раздалось еще два выстрела.

— Так я и знал! — злился Иван Никитич. — Надул меня проклятый Терешка! Ох и человек! Погоди, змей, я тебе... — но что он собирался сделать с Терешкиным, Иван Никитич так и не успел придумать.

Из-за леса появилась большая стая косачей и, быстро увеличиваясь, приближалась к скраду.

Иван Никитич привстал на колено, приложился: бух! бух! Одна из птиц, даже не качнувшись, полетела вниз. За ней полосой крутились в воздухе перья.

— Вот это да! Срезал! — услышал Иван Никитич позади себя восхищенный голос.

— Кого тут леший таскает? — угрожающе зашипел он, но никто не отозвался. Он настороженно прислушался и, подумав, что ему что-то почудилось, снова принялся юрко шарить глазами по березняку, по скирде, по небу.

Утро загнало темноту в лес, в лощины, в горные распадки. Виднее сделалась разваленная наверху скирда; ближе подступил березняк; даже солнце попробовало выглянуть, но чем-то раздосадованное, снова зарылось в облака. В кустах подняли содом сбившиеся в огромную стаю дрозды. Где-то у реки накаркивали непогоду вороны. Но вдруг все эти привычные звуки перекрыл задорный голос пионерского горна. «Вот ведь холера, как наяривает!» — восхитился Иван Никитич горнистом и посмотрел в сторону деревни.

— Может, Генка наш?

Захотелось курить. Иван Никитич достал портсигар и



только собрался спичку зажечь, как увидел такую картину, что у него и папироска вывалилась изо рта.

По полю, конвоируемый ребятами, шагал Терешкин. Он что-то доказывал, махал руками и при этом на поясе у него, как живые, пошевеливались черные косачи.

Не зная еще, в чем дело, но смутно догадываясь, Иван Никитич с ужасом обнаружил, что среди конвоиров шагает ввук, Генка. Стали слышны голоса:

— Да ребята, да я, ей-бо, не я, пришел я, а тут уж все сделано, стало быть, наготове...

— Отпирайся, отпирайся, думаешь, мы не видели! Вот еще один балаган. Ну, как тут дела, ребята!

— Все в порядке, товарищ командир! Ведем наблюдение, глаз не спускаем, аж продрогли.

— Молодцы! Сейчас мы посмотрим, что тут за субчик, — проговорил никто иной, как Генка, которого ребята почти-точно называли командиром.

Иван Никитич нехотя вылез из шалаша и, стараясь упрятать смущение, сердито спросил:

— Это кто, я те субчик, да?

Глаза у Генки сделались большие, рот открылся.

— Дедка!?

— Тот-то и оно, что дедка! Я те покажу субчика. Такого субчика дам, что не возрадуешься!

Иван Никитич, старый солдат, знал, что лучшая оборона — это наступление и, надо сказать, наступление подействовало на ребят ошеломляюще.

Они на какое-то время оробели, получилось всеобщее замешательство. Но продолжалось оно недолго. Первым опомнился, как и полагалось командиру, Генка. Словно и не существовало больше ни дедушки, ни Терешкина.

— Давай, ребята, снопы на скирду! — скомандовал Генка. — Ничего, закроем как-нибудь, а потом в сельсовет пожалуемся. Я знаю фамилии обоих.

Ребята поволокли снопы, отяжелевшие от сырости. А Терешкин и Иван Никитич стояли на месте и моргали глазами.

— Эх ты, дедка! — переждав, когда у шалаша не осталось ребят, заговорил Генка, взваливая на плечо сноп. — Когда я окно в школе разбил, ты что говорил? «Труд надо уважать, помогать людям, не вредить!» А сам! Эх ты! — он бегом отнес сноп и продолжал: — Мы колоски собираем всей

школой, а вы наш труд на забаву! А еще учишь всегда. Я про тебя всем ребятам хорошее говорил, а ты... Эх ты...

— Ладно, не канючь, а то я слушаю, слушаю, да и отта-скаю за вихры.

— Ну и таскай! Подумаешь! Таскай! Все равно скажу, что думаю, — кипятился Генка и со слезами на глазах повернулся к Ивану Никитичу: — Как мне теперь, по-твоему, стыдно в деревню идти или нет? Собственного дедушку изловил! Эх ты!

— Довольно, довольно, — неловко переминаясь с ноги на ногу и пряча глаза, оборвал внука Иван Никитич, — грамотен больно. Я вот еще велю всыпать тебе, командиру боевому, за то, что ты из дому до зорьки удрал и ребят увел...

— Иди, иди, скажи, папке скажи. Это он научил нас создать пионерские посты. Эх вы, колхозное добро на забаву... Надо труд людей уважать...

Дальше слушать было невыносимо. Генка прилипчив, как репей. Перенял многое от дедушки. Иван Никитич пошел на хитрость:

— Чего стоишь, Терешкин? Помогать надо пацанам. Видишь, мошенники какие-то нарушили скирду, а мы в ответе.

— Рассказывай, рассказывай, — недоверчиво покачал головой Генка.

Иван Никитич, будто не расслышав этих слов, принялся бойко подавать снопы на скирду. Терешкин, испуганно моргая глазами, молча таскал снопы с дальнего конца поля. Вот он, панически дыша в ухо Ивана Никитича, зашептал:

— Повлияй, посадят! Ей-бо, посадят!

Иван Никитич зло посмотрел на него, и Терешкин засе-мнил прочь.

Через полчаса все было закончено. Иван Никитич по-хо-зяйски поправил последние снопы на верху скирды. Овес мокрый. Его уже прихватило плесенью. Сгорит овес в скирде. Иван Никитич, бывший крестьянин, хорошо понимал это. Он помялся, покашлял и спросил у Генки:

— Молотить-то скоро будут, не знаешь?

Тот не понял, зачем у него об этом спрашивает дедушка, и ответил:

— Скоро. Они уже вон на том поле. Мы там граблями солому от молотилки отгребаем.

Наступило долгое и неловкое молчание. Ребята стали со-бираться уходить. Генка исподлобья поглядывал на деда, который хотел о чем-то заговорить и не решался. Наконец Иван Никитич спохватился, начал суетиться, отыскал узелок.

— На-ко вот, бабушка продукт послала какой-то. Причуды бабы! Живете-то как?

— Хорошо!

— В пионеры вступил, значит?

— Вступил.

— Ну, ну. Оно понятно. Раз возраст дошел, само собой, в пионеры надо.

Помолчали. Вдалеке опять зазвучал горн.

— Так мы пошли, нам надо на работу, а во вторую смену — в школу.

— Что ж, ступайте, ступайте, правильно хозяйуете, со строгостью!

— Не по-вашему, — задиристо ответил Генка.

Когда ребята немного отошли, Иван Никитич протянул руку, хотел было что-то крикнуть, позвать Генку, но, увидев потрясенное, растерянное лицо Терешкина, с дрожащей нижней губой, раздумал. Он закинул за плечо ружье и пошел по тропинке. За ним уныло тащился Терешкин, и тетерева с распушенными крыльями бились о его колени, мешая шагать.

Долго шли молча. С деревьев падали последние листья, начинался мелкий дождь. Иван Никитич остановился, затоптал окурок, посмотрел зачем-то на небо и, кивнув в сторону деревни, почесал затылок:

— Поохотились! Нажалуются ведь они на нас с тобой, друг. Ух, характер у шельмеца, железо! Собственного деда готов глазищами сразить.

— Погубют! Ей-бо, погубют! — жалобно твердил свое Терешкин.

— Погубить — не погубят, но неприятностей наделают, — Иван Никитич прошел несколько шагов молча и сёрдито добавил: — Поделом.

— Чегой-то? — встрепенулся Терешкин.

— Дождик, говорю, начинается, и надолго. Паршивое утро.

Тропинка вывела их снова на линию. Побрели они по шпалам, о чем-то напряженно думая. И ни тот, ни другой не слышали больше тех запахов, которые плыли недавно из темноты... Кружились скрюченные листья, моросил дождь и тянуло чем-то горьковатым, по всей вероятности тальником, который так густо разросся по обочинам железнодорожной линии.



Люся умерла в ясный солнечный день.

Она не дожидила неделю до окончания четвертого класса. Смерть была так неожиданна, так потрясающе несправедлива, что у Алика не хватало ума постичь ее, не хватало мужества примириться с ней. Ему все случившееся казалось нелепой и невеселой игрой. Алик мучительно думал, ждал: вот-вот произойдет что-то такое, отчего Люся откроет синие глаза и он снова будет играть с ней, заниматься вместе, только уж никогда, никогда даже пальцем не тронет ее, «мафьиной» дразнить не будет. Маленькая Лю-

## ЕЛОЧКА

ся не выговаривала букву «ш», поэтому так и дразнил ее Алик.

Надеясь на чудо, Алик тихонько пробирается в соседнюю квартиру, шмыгает в переднюю и, стараясь быть незамеченным, смотрит на Люсю. Она лежит в парадной школьной форме со смиренно сложенными на груди руками, с чопорно, по-старушечьи, поджатыми губами.

Совсем, совсем другая Люся. Мальчик помнил ее еще все маленькой. В коротком платьишке с белыми оборками и крупными горошинами, Люся выбралась на кухню и здесь повстречалась со своим соседом — Аликом. Они вместе выгребали золу и угли из печки. Потом они вместе ходили в детский сад, вместе отправились и в школу. Они были всегда вместе и потому их дразнили женихом и невестой. Люся часто заступалась за тихоню — Алика. Она умела драться не хуже мальчишек. И вот...

Алик недоверчиво оглядывается по сторонам: какие-то люди медленно передвигаются по комнате со скорбным или озабоченным видом — не понять. Откуда-то взялись старухи, крестятся. Никогда никаких старух в этой квартире не бывало. Икон здесь тоже нет, а они крестятся. Вероятно, в пустом углу есть что-то такое, чего Алику не видно. Люсины мама сидит с отсутствующими глазами, немая, неподвижная. Сидит так, что на нее даже смотреть жутко. Старухи вполголоса судачат:

— Все под богом ходим... смерть, она не разбирает: мальй или старый...

Глупые слова! И старухи тоже глупые, крестятся, каркают, успокаивают сами себя — им-то законно умирать надо. А Люся жить должна! Неправильно, что она умерла.

Алик сжимает кулаки и у него начинает царапать горло. Ну, чего бы ему сделать такое, чтобы не было так неловко перед Люсей, которая умерла, а он вот остался и живет себе. Он несмело продвигается к столу и крепко сжимает Люсину руку. Так он держал Люсю в далекие времена, но потом она стала выдергивать свою руку и показывала ему язык. Алик старательно греет холодные пальцы девочки. Появляется его мама с округленными глазами и поспешно оттаскивает мальчика от стола.

— Скарлатина... сами понимаете, — виновато, словно оправдываясь, бормочет она Люсиной маме, и та согласно кивает головой. Она, очевидно, вовсе не слышит слов, потому что одинаково кивает всем, кто к ней обращается.

Дома мать плотно закрывает дверь и приказывает в который уже раз:

— Не смей туда ходить! Ты что, хочешь сам погибнуть и нас погубить!

— Пойду! — упрямо произносит мальчик, глядя на мать исподлобья.

Это вызывающее упрямство коробит её и обезоруживает. Она со слезами на глазах пытается уговорить его, толкует о том, как опасно для жизни быть возле мертвой девочки. А он, не повышая голоса, повторяет:

— Все равно пойду...

В этом упрямстве боль и горе, которые мальчик пока еще не умеет ни высказать, ни спрятать. И мать чувствует, что все ее слова жалки по сравнению с его скорбью. Боясь, что он может возненавидеть ее за малодушие, за черствость, которые в ней обнаружили в такое тягостное время, мать начинает хитрить. Она подыскивает Алику работу: заставляет его провернуть мясо, начистить картошки — старухи настаивают, чтобы были поминки. Мальчик торопится, мать лихорадочно соображает, как ей быть дальше? Вот она обрадованно встепенулась и, стараясь придать лицу горестное выражение, обращается к сыну:

— Слушай, Алик, сходи в лес и наломай пихтовых и еловых веток.

Мальчик с минуту вопросительно смотрит на нее и вдруг начинает суетиться:

— Чтобы впереди Люси бросать, да?

— Да, да, сынок. Человек, уходящий из жизни по живым ветвям, — это очень старинный обычай...

Но Алик уже не слышит ее. Он гремит по лестнице ботинками, надевая на ходу куртку. Дорогу в лес Алик знает. Тайком от родителей он и Люся ходили туда по цветы, а однажды принесли полную фуражку грибов. Мать Алика чуть сознания не лишилась, узнав, что они одни бродили по лесу.

Вот и пихты. Ветви у них пахучие и мягкие. На конце каждой лапки липучие от смолки шишечки. А в каждой шишечке затаилась новая лапка, которая скоро вылезет на свет, будет казаться приклеенной, оттого что цвет у нее младенческий — светлый. Нет, не вылезет. Сломит ее Алик и бросит под ноги похоронной процессии. Затапчут ветку вместе с побегами. Потом ветка попадет в придорожную канаву; хвоя у нее поржавеет, осыплется. Дожди занесут ее илом, а в лесу

будут хиреть, плакать тягучими слезами обломанные деревца. Может быть они тоже умрут?

И с Люсей, наверное, будет так же. Унесут ее на кладбище, закопают в землю, и все разойдутся по домам. Одноклассники уедут на каникулы, и интересные дела вытеснят из памяти девочку, которая почему-то взяла и умерла. Лишь родители Люси не забудут ее и он, Алик, тоже. А может и позабудет? Он ведь долго жить будет, а взрослые говорят, что время заглушает горе и обиды. Вот если бы Люся оставила свой след в жизни, то воспоминания о ней передавались бы бережно из поколения в поколение. Однако она была всего лишь девочка и ничего не успела сделать.

Но ведь она была хорошей девочкой! Стало быть, надо придумать такое, что напоминало бы людям о Люсе. Цветы, венки — все это вещи временные. Они обратятся в прах еще раньше, чем одряхлеют воспоминания о маленьком, жизнерадостном человеке.

Долго сидел Алик в лесу и думал первую в жизни трудную думу. Поздно вечером он явился домой усталый и грязный. Ногти у него были поломаны, пальцы поцарапаны. В полове рубахи он осторожно нес маленькую зеленую елочку, с корнями и комком земли.

С этой елочкой мальчик потом шагал впереди похоронной процессии. Он нес ее так же, как носят на похоронах подушечку с наградами.

---



**К**огда идешь от села Вереино, которое стоит на крутой горе, сначала попадаешь на проезжую дорогу. Дорога эта вскоре отвесно падает в Черную речку, маленькую и бурливую. Вода в ней светлая, а названа она Черной потому, что пугается в темнотвольном ольховнике, черемушнике, ельнике и пихтаче, выскивая дорогу к реке Чусовой.

Тропка незаметно отделяется от дороги в том месте, где начинается спуск. Слово бы не по пути им—шумной дороге и тихой тропке, которая задумчиво и одиноко те-

## **ТРОПА**



чет по лесу, поперек ложков, то петляя, то выпрямляясь.

...Еще спит село. Внизу на Чусовой дотлевают костер у парома. Окна в домах не светятся и собаки не лают, набрежались, унялись, обессилели за ночь. Лишь далеко, далеко тарыхтит сплавщицкий катер, да на перекате сердито урчит камешником землечерпалка. Там который уже год переливают из пустого в порожнее, нет, не воду, а камешник. Выгребут его на перекате, свезут на глубокое место, высыпят, а весной льдом снова натаскивает камешник и снова есть работа землечерпалке, заработок приезжим и местным жителям, а областной газете — информация о том, что вот уже не за горами город Чусовой и скоро река вплоть до него делается судоходной...

Село уже далеко, и звуки с реки не доносятся. Только шуршит под ногами кошенина и ровно, как заведенные, ноют столбы на дороге.

Вдали, за изгибом реки Чусовой, ленивым, бледным стеблем прорастает рассвет. Он пробился из тьмы, вцепился корнями в зубы лесистых гор и начал медленно зреть, накаляться, угоняя с небес темноту, разметая пугливые тучки.

Вот и тропинка. Началась она в мелком веселом соснячке, который сейчас кажется плотным, густым, жутковатым. Затем тропинка юркнула в большой, сомкнувшийся в вершинах, лес. Невольно замирает сердце. Но это до тех пор, пока не ступил в лес, не врезался в темноту. Скоро протиснется сюда рассвет и раздвинет лес. Вот уже проступают вершины в небе, обрисовываются ветви и деревца, бестолково выскочившие на тропинку. Застигнутые врасплох тихим светом, они растерянно замерли, опустили ветви.

Одна за другой окрашиваются в красный цвет высокие ели и на них вспыхивают и мгновенно сгорают искорки инея.

По правую руку поля, частью скошенные, частью нет. Тропинка на секунду выскакивает к ним и, словно испугавшись света, снова ныряет в лес. Но рассвет гонится по ее пятам, преследует. Еще никогда не бывало так, чтобы тропинка или дорога успели сбежать от рассвета. Где-то они все равно повернут друг другу навстречу.

И человек, идущий по дороге, непременно, лицом к лицу, встретится с зарей. На то он и человек, чтобы глазами глядеть в глаза утра.

Я смотрю, я дивлюсь ему — этому вечно юному, вечно бодрому, румяному утру, которое не старится с годами, которое

все так же свежо, все так же радостно, искристо и улыбочиво. Но когда глядишь в ясные, до боли родные, до сладости щемящие глаза русского, яркогубого утра, жаль чего-то становится...

Это годы дают себя знать, годы. Конечно, я еще не старик. Но очень уж трудна, очень сложна была наша жизнь. То, что мы сделали, то, что мы повидали за тридцать-сорок лет, иным поколениям и в триста не уложить.

Жизнь бросала нас из края в край, она разлучала нас с родной природой и вместо того, чтобы вот так смотреть в русское небо, встречать утро в лесу, нам приходилось ходить в бешеные атаки на рассвете, гнать врага по чужим дорогам, обсаженным подстриженными, чопорными деревцами.

А мы тосковали о лесе! О нашем, русском лесе, где можно запросто заблудиться, где по колено уходят ноги в мох, где даже в знойный полдень бывает прохладно, где зорко следят за охотником злые глаза рыси, где пугает на малинниках визгливых баб добродушный зверь, где возами возят грибы, где лопатой гребут ягоды, где ветви гнутся от кедровых шишек, где лес качается от птичьих песен...

Русский лес — земная красота, есть ли такие слова, которыми можно было бы рассказать о тебе, воспеть тебя! Наверное есть, но я не знаю их, я не нахожу таких больших, таких прекрасных слов, которые были бы равны тебе по силе и величию.

Я иду навстречу утру, и пощипывает у меня в горле, и кричать мне хочется, но я молчу. Я счастлив и оттого молчу. Я уже не тот маленький, далекий мальчишка, который лрыгал и орал от восторга, услышав зорькину песню. Нет, я умею молчать, я умею по-взрослому радоваться. Я просто иду, я просто дышу, я просто смотрю, я просто слушаю, как чисто и звонко заливается зорянка.

А из-под ног моих с тяжелым хлопанием снимается черный тетерев с белыми подпушками у дугастого хвоста и летит стремительно по тропинке вперед, выше. Вот он взмыл над кустами и черной пулей пробил огненную зарю и расплавился, сгорел в ней.

Я не успел выстрелить. Ну да ладно, еще настреляю, еще целый день впереди, еще с утром не разминуся. Оно все еще полыхает на небе, оно добирается до каждого деревца, до каждого листика, оно заботливо ощупывает их, сушит мягкими губами, и листья розовеют, зажигаются зоревым огнем.

Утро тянет за собой светлый день-труженик на ярко сверкающих медных канатах. Для него, для этого великого работника, оно расчищает дорогу, славя его птичьими хорами, выкатывая на вершину горы накаленное, лобастое солнце, чтобы все время они трудились бок о бок — горячее солнце и светлый день.

Утро грянуло и отзвенело птичьими голосами!

Наступил хлопотный день.

А тропинка течет дальше и дальше, она манит, она ведет и нет ей конца.

---

## СО Д Е Р Ж А Н И Е

<b>Зорькина песня</b> . . . . .	5
<b>Гуси в полынье</b> . . . . .	9
<b>Рыбачья жилка</b> . . . . .	15
Пищуженец . . . . .	15
Налимы ожили . . . . .	16
Воспитательный прием . . . . .	18
Любопытной Варваре . . . . .	19
<b>Таймень и мышка</b> . . . . .	21
<b>Злодейка</b> . . . . .	26
<b>За синими горами</b> . . . . .	30
Вверх по Яйве-реке . . . . .	30
Первая удача . . . . .	33
Ах ты, ноченька... . . . .	36
Утро, какого в городе не бывает . . . . .	40
Когда в товарищах согласья нет . . . . .	42
Сказ, поведанный ручейком . . . . .	45
Летняя гроза . . . . .	47
Рыба рыбе — рознь... . . . .	48
...А рыбак рыбаку — родня . . . . .	49
До свидания, Яйва! . . . . .	52
<b>На охоте всякое бывает</b> . . . . .	54
Двенадцать патронов и ни одной гагары . . . . .	54
Последняя песня . . . . .	56
Как чирок охотника искупал . . . . .	57
За два дела не берись . . . . .	57
Юркий рябчик . . . . .	58
<b>Щенок со знаменитыми шишками</b> . . . . .	59
<b>Наклёпки</b> . . . . .	62
<b>Зеленые звезды</b> . . . . .	65
<b>Лежачего не бьют</b> . . . . .	68
<b>Большой друг</b> . . . . .	70
<b>Сима</b> . . . . .	75
<b>На перелете</b> . . . . .	84
<b>Страшная смерть</b> . . . . .	91
<b>Бродяга-песец</b> . . . . .	96
<b>Запах тальника</b> . . . . .	99
<b>Елочка</b> . . . . .	107
<b>Тропа</b> . . . . .	111

*Виктор Петрович Астафьев*

ЗОРЬКИНА ПЕСНЯ

Рассказы

Редактор *Т. И. Вершинин*

Худож. редактор *М. В. Тарасова*

Техн. редактор *А. М. Сычкин*

Корректоры *Л. К. Каширина и Э. К. Актищева*

---

Подписано к печати 8/VI-1960 г.

Формат 84×108<sup>1/32</sup> 1,8125 бум. л. 3,65 печ. л. (уч.-прив. 5,945) Уч.-изд. 5,9 л.

ЛБ01893.

Тираж 30 000 экз.

Цена 3 р. 30 к.

---

2-я книжная типография облполиграфиздата.  
Пермь, ул. Коммунистическая, 57. Зак. 733.

